

Людмила РАЗУМОВСКАЯ

# РУССКИЙ ОСТАТОК

*роман*



# Людмила Николаевна Разумовская

## Русский остаток

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=54299206](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54299206)*  
*Русский остаток: Сретенский монастырь; Москва; 2016*  
*ISBN 978-5-7533-1204-4*

### Аннотация

В судьбе главной героини романа просматривается судьба целого поколения, которое почти поголовно состояло из Иванов, не помнящих родства, и к лучшим представителям которого постепенно возвращалась родовая, историческая и духовная память. Перед каждым из них тем или иным путем раскрывались семейные тайны, разворачивалась история рода. И каждая такая история заставляла задуматься о тайнах Большой Истории, о причинах и смысле той непомерно великой крестной ноши, которая легла на Россию в XX веке и под которой стонет и гибается она по сию пору. Роману дано прекрасное и точное название «Русский остаток». В нем угадывается отсылка к известным апостольским словам: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется».

# Содержание

Отвага правды, покаяния и любви	6
Часть первая	12
1	12
2	16
3	44
4	53
5	61
6	73
7	77
8	98
9	106
Часть вторая	114
1	114
2	128
3	137
4	145
5	147
6	153
7	163
8	166
9	179
10	185
11	191

12	199
13	213
Часть третья	226
1	226
2	231
Конец ознакомительного фрагмента.	233

# **Людмила Разумовская**

## **Русский остаток**

© Разумовская Л.Н., 2016

© Сретенский монастырь, 2016

# Отвага правды, покаяния и любви

Книга, которую вы сейчас открыли, может и, как представляется, непременно должна стать событием для каждого из ее читателей и для всей современной отечественной культуры. Ее автор, Людмила Разумовская, известна и в нашей стране, и за ее пределами как превосходный драматург, остро чувствующий время, проницательно и честно отражающий его духовные и социальные проблемы. Тонко и точно исследуя глубины человеческих душ, она сумела создать разнообразные, сложные, противоречивые, подчас неожиданные в своих проявлениях характеры.

Такие пьесы драматурга, как «Дорогая Елена Сергеевна», «Сад без земли», «Медея», «Сестра моя Русалочка», «Конец восьмидесятых», «Владимирская площадь» и другие, со времени своего создания и по сей день идут на подмостках многих театров Европы, Азии, США, Канады. На родине, в России, у каждой из них была своя драматическая, но порой и счастливая судьба.

И вот перед нами новое произведение Л.Н.Разумовской, написанное на этот раз в жанре романа. Очевидно, в такой смене писательского амплуа была своя внутренняя логика и необходимость: роман – наиболее универсальный и наиболее свободный литературный жанр, который позволяет сочетать драматическую остроту конфликта, стремительность

и напряженность диалога с авторскими комментариями и неспешными философскими раздумьями о времени и о героях. В романе могут спокойно соседствовать вымысел и строгий исторический факт или документ, лирические сцены и политическая публицистика. Одним словом, жанр романа наиболее близок самой жизни, во всей ее сложности и полноте.

В своем первом опыте обращения к большой прозе, который представлен ныне на суд читателя, Людмила Разумовская показала, что как человек и как художник она вполне созрела для создания произведения очень значительного масштаба и духовной силы.

Масштаб этот раскрывается постепенно, и поначалу пространство повествования кажется довольно камерным. Героиня романа Галина, провинциальная девочка из неблагополучной и неполной семьи, вырывается из постылой обстановки родного дома, приезжает в Питер и поступает в университет. У нее беспорядочные представления о жизни и людях, случайные знакомства и связи. Казалось бы, волей случая, увязавшись за подругой в авантюрную поездку на окраину Москвы, она встречается с великой и пожизненной своей любовью. Поистине, по слову Пушкина, случай может стать «мгновенным орудием Провидения».

У героини говорящая фамилия – Преображенская. Именно с приходом настоящей любви начинается постепенное преобразование, углубление и просветление ее личности. И

любовь эта показана автором сильно, пронзительно, с очень редкими в наши дни высотой, благородством и нежностью. Однако перед нами далеко не только любовный и уж совсем не дамский роман.

Галина Преображенская долгое время не знает, что фамилия ее указывает на принадлежность к священническому роду. Она думает, что отец был посажен в тюрьму за уголовщину, и всеми силами стремится вырвать из сердца память о нем. В ее судьбе просматривается судьба целого поколения, которое почти поголовно состояло из Иванов, не помнящих родства, и к лучшим представителям которого постепенно возвращалась родовая, историческая и духовная память. Они каким-то чудом продирались к правде, казалось бы, навсегда для них закрытой. Исконно русское правдоискательство является главным достоинством автора романа и его героев. Все они продвигались в трудных поисках правды непрямыми путями, часто ошибаясь, падая, переживая перемены и катастрофы в своей личной жизни. Перед каждым из них тем или иным путем раскрывались семейные тайны, разворачивалась история рода. И каждая такая история заставляла задуматься о тайнах Большой Истории, о причинах и смысле той непомерно великой крестной ноши, которая легла на Россию в XX веке и под которой стонет и сгибается она по сию пору. И не просто задуматься, а выстрадать, пропустить через сердце эту тяжесть и боль, всем существом приобщиться к ней, а значит, укорениться в родной почве, по-

лучить прививку к общему могучему древу Русского Креста. В результате масштаб романа оказывается поистине огромным.

Людмила Разумовская сочетает в себе женскую способность к чуткому пониманию и сопереживанию личной и общей боли – и поистине мужественную отвагу в обнаружении, назывании, бескомпромиссно правдивом и беспристрастном осмыслении всех самых трудных тем русской истории XX века. Таких, например, как Февраль 1917 года и его переключка с февралем перестройки, как личность и политика Сталина, как трагедия и роковые ошибки движения генерала Власова, причины и ход чеченской войны, роль Запада в трагической судьбе России, последствия олигархического захвата власти.

Все эти и многие другие, не менее острые и больные темы поднимаются и обсуждаются на страницах романа в трудных спорах, в захватывающих, динамичных диалогах, построенных с настоящим драматургическим мастерством. Самое главное их достоинство в том, что в ходе этих предельно искренних разговоров ломаются привычные, умело навязанные нам штампы и стереотипы и правда проступает во всей своей сложности и многогранной, подчас противоречивой полноте. Причем ни сам автор, ни его герои вовсе не настаивают на том, что это – правда в последней инстанции (такого рода заявления обычно принадлежат людям столь же самоуверенным, сколь интеллектуально и духовно ограничен-

ным). Нет, последняя точка здесь отнюдь не поставлена, и читатель может включиться в дальнейшее осмысление этих жизненно значимых тем. В таком приглашении к духовному и интеллектуальному сотрудничеству в сфере постижения наиболее спорных страниц нашей истории, думается, еще одно несомненное достоинство книги.

Честность, бесстрашие и силу души автор книги обнаруживает и в выявлении самых болевых проблем нашего современного общества с его культурным одичанием и вопиющей безнравственностью. При этом, глубоко сострадав бедствующему и вымирающему народу, Л.Н.Разумовская не впадает в крайность народобожия, не делает попыток национального самооправдания. В ее романе мы находим честное и трезвое признание и беды, и вины человека и народа, а также горький, но убедительный диагноз губительных процессов, происходящих в России и мире.

В то же время книга Людмилы Разумовской не оставляет чувства безнадежности. Напротив, в ней проступает Свет, который «во тьме светит, и тьма не объяла его». Свет истины, веры, добра проникает в души главных героев романа и постепенно разрастается, утверждается в них. Герои показаны в трудностях своего духовного роста. По мере того как изменяются, преображаются они сами, меняются и их взаимоотношения. Чем взыскательнее становятся они к самим себе, чем строже судят себя за совершённые когда-либо грехи и проступки, тем терпеливее, мягче, благодарнее они относятся-

ся друг к другу, тем мудрее принимают то, что происходит в их жизни – даже самые дорогие утраты, даже собственный земной конец.

Роману дано прекрасное и точное название – «Русский остаток». В нем угадывается отсылка к известным апостольским словам: «Да пусть хоть как песка морского, несчетно будет сынов Израилевых, спасется лишь малый остаток». И в самом деле, сейчас, как никогда, мы можем воочию убедиться, что широкий путь ведет к гибели. Увы, многие из наших современников предпочитают, не задумываясь, идти именно этим общим путем. Но каждый из нас подобно героям романа Л.Н.Разумовской может войти в спасительный «русский остаток», если решится встать на узкий и трудный путь правды, веры, милосердия, покаяния и любви.

*О.Б.Сокурова,*

*доктор культурологии,*

*доцент Института истории Санкт-Петербургского  
государственного университета*

# Часть первая

## 1

Галина выросла в небольшом северном рабочем поселке на берегу Белого моря под Архангельском. Воспитывали ее мать и бабушка – обе на ножах. Отца Галина не знала и ничего о нем не слыхала, это была запретная тема. Мать пропадала на работе, а потом еще где-то, возвращалась поздно, бабушка никогда не ложилась спать, не дождавшись дочери, и только для того, казалось маленькой Галине, чтобы закатить ей скандал.

Этих скандалов Галина боялась больше всего на свете. Ее сердце сжималось в комочек, она забивалась в угол кровати, зарывалась в подушки, чтобы ничего не слышать и не видеть, но подушки не помогали. Ругань начиналась с легкого бурчания бабушки, когда та вставала с постели, чтобы отодвинуть засов, который специально задвигала, чтобы мать не сумела тихо и незаметно войти и лечь спать. Мать отвечала привычно раздраженно. Бабушка, цепляясь, повышала голос. Мать бросалась в крик. Через минуту бабушкины истошные вопли уже слышали все соседи, в стенку начинали стучать. Мать грозилась повеситься, в ответ бабушка бежала топиться. Утром они мирились, чтобы на следующий вечер начать все снова.

ла.

Бабка потихоньку пила, мать – гуляла.

Да и как же ей было, молодой, одинокой и красивой (а Галинина мать была красива), не гулять, когда надежды выйти замуж в послевоенной России не было никакой? Не выходить же за местных инвалидов или пьяниц. А тех, что по-трезвее, уже давно держали на привязи бдительные леспромхозовские жены.

Маруся крутила романы с вольными, приезжавшими за кругляком шоферами, за которыми не мог уследить ничей ревнивый глаз по причине удаленности расстояний.

После таких кручений Маруся частенько уезжала в город и делала запрещенные аборты.

Возвращалась тихая. Ходила озираясь. Глядела виновато.

Бабка еще больше ярилась. Галина ничего не понимала.

Она уходила на берег моря. Подолгу бродила по песку вдоль кромки тихо шелестевшей волны и тоненько пела все известные ей благодаря радио оперные арии. У нее был слух, она легко запоминала. Очевидно, это одинокое пение помогало ее маленькой душе освободиться от невыносимого груза нелюбви, царящего в их доме. Она возвращалась успокоенная. И давала себе слово во что бы то ни стало, когда вырастет, разыскать отца. Все, что она знала о нем, это его фамилия, которую они с матерью, в отличие от бабки, носили. Обе были Преображенские, а бабка – Воронина. Нет, и еще имя: Сергей. Она была Галина Сергеевна.

Об отце Галина мечтала страстно. Все, что она ощущала как хорошее в жизни, было связано для нее с образом незнакомого ей отца. Она наделяла его всеми изумительными качествами героя и даже полубога. Как-то раз она осмелилась спросить кое-что об отце у бабки. Та, обычно сразу набиравшая в рот воды, на этот раз, пребывая в периоде бурной ссоры с матерью, мстительно выпалила:

– В тюрьме твой отец! Ясно? На каторге! В лагерях!

В сердце маленькой Галины словно вонзили длинную острую иглу, она замерла и похолодела так, что у нее побелели губы и кончики пальцев на руках. Она бы, наверное, упала в обморок, но бабка, заметив неладное, подхватила ее и уложила на диван. С ней сделалась тихая истерика. Она перестала разговаривать, почти ничего не пила и не ела. Напуганные мать с бабкой, заключив временное перемирие, повезли Галину к врачу. Врач прописал витамины и что-то еще, через месяц она поправилась.

Но удар был слишком тяжелым. Она ничего не поняла про каторгу и лагеря, но жуткое слово «тюрьма» ей было известно. Мечтания об отце уперлись в тупик. «Значит, он такой же, как они?» – думала Галина, имея в виду мать и бабку. «А может, они, взрослые, все такие?» Она вспомнила соседа-пьяницу, сквернословящих мужчин у пивного ларька возле поселкового клуба и еще – как в пьяной драке убили брата одной девочки из их класса, и дала себе слово никогда не выходить замуж за этих страшных мужчин, которые пьют,

матерятся, убивают и сидят потом за это в тюрьме. Хватит с нее матери с бабкой!

Больше об отце она не мечтала. Теперь она стала мечтать о том, как вырастет, уедет в большой город, поступит учиться и больше – никогда, никогда! – не вернется в свой родной дом, который трудно назвать родным.

Так и случилось. Галина училась хорошо, особенно по литературе, ее ставили в пример. Она окончила одиннадцать (по хрущевской прихоти) классов с серебряной медалью и уехала в Ленинград поступать в университет.

Город ошеломил ее. Потом, когда она осталась тут жить, часто жаловалась на невыносимый климат и недостаток солнца, на дворы-колодцы, загазованность, плохую экологию, усталость от транспорта и людей, но, предложи ей все-речь перебраться в другое место, она не согласилась бы никогда. Город Пушкина, Достоевского и Блока стал и ее судьбой.

## 2

Галине шел двадцать первый год, она училась на третьем курсе филфака, когда с ней произошло то, что рано или поздно происходит со всеми девушками ее возраста. К этому относились легко, вопрос о браке не обсуждался, а если и обсуждался некоторыми устоявшимися парами, то происходило это намного позже, ко времени, например, окончания учебы. Ну произошло, и ничего особенного. Наоборот, возникала даже какая-то гордость, даже это как-то и льстило, вроде ты стала теперь полноценновзрослой.

Историю своего превращения Галина кратко пересказала закадычной подруге Татьяне, которая давно уже перешла сей невидимый простому глазу рубеж и считалась девушкой многоопытной. Татьяна поздравила ее с важным событием и потребовала подробностей. С подробностями было туго. Все произошло неожиданно на вечеринке с полужнакомым ей молодым человеком; кажется, звали его Алик или Олег и он заканчивал уже физмат; кажется, у него кто-то есть, вроде постоянной барышни или даже невесты, а Галина просто подвернулась под пьяненькую руку, ну расслабился человек, с кем не бывает. Продолжения, естественно, не последовало, и Галина почти забыла об этом происшествии, тем более что наступала летняя сессия, к которой она всегда готовилась серьезно.

Она жила без романов, считая себя практически дурнушкой. Она была чуть выше среднего роста, стройная, с узким тазом и маленькой грудью. Длинные русые волосы носила свободно или просто перехватывала сзади резинкой. Нос с маленькой горбинкой не на шутку портил ей жизнь, втайне она даже мечтала когда-нибудь сделать операцию по его выпрямлению. Зеленоватые с желтизной глаза казались ей кошачьими (в школе ее так и дразнили: Кошачий Глаз и еще Рыжая, поскольку каждый раз по весне ее нежную прозрачную кожу покрывали крошечные точки веснушек, пропадавшие только летом и доводившие ее до слез). Посередине белых ровных зубов была узенькая щель, которой она стеснялась и потому всегда плотно сжимала красивые полные губы и редко улыбалась.

Сдав сессию, подруги решили прокатиться в Москву автостопом. У Татьяны там жил знакомый художник, который мог их приютить. Галина училась на повышенную стипендию, Татьяне помогали родители: деньги у подружек были. К поездке они тщательно подготовились. Сами сшили себе из вафельного полотенечного материала, предварительно покрасив его в голубой цвет, джинсы, из мешковины – юбки; простые белые футболки, перевязав в некоторых местах нитками, они опустили в краску, отчего получились непредсказуемые, замысловатые узоры. Купили дешевенькие полушерстяные свитера и, сложив все это самодельное (а ля хиппи) богатство в рюкзачки, вышли на Московское шоссе. (В

те годы это было еще почти не опасно.)

На вторые сутки к вечеру девушки добрались до столицы. Татьянин знакомый жил в ближайшем пригороде (теперь это Москва). Выйдя из электрички, они немного поблуждали в темных закоулках и наконец нашли необходимый им крошечный домик.

К счастью, в окнах горел свет: девушки ехали наобум, не предупредив.

Постучали.

– А, привет! – сказал вышедший на крыльцо хозяин, не выразив никакого удивления, словно они расстались только вчера. – Вы откуда?

– А мы прямо из Питера. Автостопом. Представляешь? А это моя подруга Галина. Вместе учимся, на одном курсе, – затараторила Татьяна.

– Анатолий, – представился Татьянин приятель. – Ну заходите, раз автостопом...

– Знакомьтесь, вот, – сказал Анатолий присутствующим в доме гостям. – Барышни из Питера. Автостопом. Татьяна и Галина. Универсантки.

– А я думала, смолянки, – снисходительно оценивая доморощенно-хипповый наряд подруг, сказала полная девица, одетая в дорожную замшу.

Вторая, смуглая, с длинными черными волосами, вся в серебряных украшениях (болгарка, как потом узнали «смолянки»), рассеянно глянула на подруг, стряхнула пепел в блюд-

це и ничего не сказала.

Гости из Питера засмутились.

– Серж, – сказал Анатолий, – займись девушками, а я по такому случаю картошку, что ли, пожарю.

Галина посмотрела в ту сторону, куда обращался Анатолий.

На подоконнике настезь открытого окна, по-турецки поджав ноги, сидел тоненький хрупкий мальчик с яркими губами и пробивающейся темной бородкой. Он курил и смотрел куда-то вдаль, в ночь, на звезды. Его взгляд был спокоен и серьезен.

– Я тебе помогу, обожаю жарить картошку, – сказала Татьяна и удалилась с Анатолием на кухню.

Галина присела на единственный в доме стул (обе москвички сидели на колченогом диване). Перед ними на маленьком столике стояла недопитая бутылка сухого красного вина, из кулька выглядывало какое-то печенье, из другого – кусочки нарезанного сыра.

Комната была увешана картинами и картинками, многочисленные холсты в рамах и без стояли рядами вдоль стен, оставляя минимальное пространство для обыкновенной жизни.

Вкусно пахло красками. (Этот специфический запах всех художественных мастерских сделался потом для Галины любимейшим на всю жизнь).

На полу громоздился старый магнитофон, пел Шаляпин.

Пепельница наполнялась окурками. Все молчали.

– Посиди так, – вдруг сказал Серж, обратившись к Галине. – Я тебя порисую. Можешь?

Галина недоуменно кивнула.

Серж взял картон, пастельные мелки и стал быстро набрасывать ее портрет.

Москвички переглянулись и, о чем-то между собой пошептавшись, вышли на улицу.

Галина сидела не шелохнувшись.

«Идеальная натурщица», – потом говорил Сергей смеясь.

Спустя полчаса все вместе ели картошку, допивали вино и пили чай с печеньем и сыром.

Разговор не особо клеился. Питерские подруги кожей чувствовали: третий (четвертый) – лишний, но обреченно терпели свою лишность.

В третьем часу стали стелить постели.

– Не переживайте, девушки, – улучив минутку, шепнул подружкам Анатолий, – завтра они уедут.

– А мы и не пере... – начала Татьяна, но Анатолия окликнула болгарка, и он ушел к ней спать в другую комнату.

Замшевая стелила себе и Сержу на диване.

Девушек положили тут же: Галину – на раскладушке, Татьяну – на полу.

Погасили свет.

В эту ночь Серж так и не лег к Замшевой.

Он выходил на крыльцо, курил, подсаживался к Галине-

ной раскладушке и, улыбаясь, что-то говорил ей, тихое и ласковое. В темноте лицо его низко склонялось к ней, и она видела совсем близко его улыбающиеся губы и светящиеся радостью глаза. Он тихо целовал ее лоб, нос с горбинкой, плотно сжатые красивые губы. Она молча лежала, почти не дыша, боясь пошевелиться, замирая от мысли, что Замшевая все это видит и слышит. (Татьяна после утомительной дороги спала как убитая.)

Под утро так и заснули: она – свернувшись калачиком на раскладушке, он – пристроившись подле нее на полу и положив голову на ее подушку.

Когда Галина проснулась, все уже встали. Как и говорил Анатолий, болгарка и Замшевая (с заплаканными глазами и злая) уехали в Москву. Замшевую она больше никогда не встречала, а вот в огромной квартире болгарки (она была дочерью дипломата, иногда спонсировала молодых художников из любви к русскому искусству) им с Сергеем впоследствии приходилось иногда ночевать.

– Доброе утро. Как спала? – спросил Сергей, ласково улыбаясь.

Она встала с раскладушки, и он обнял ее, полусонную и теплую.

Сегодня он показался ей выше ростом и старше. Он и действительно был старше ее на три года и почти на голову выше.

– Пойдем, я тебя умою.

Они вышли во двор, Галина стала аккуратно, стараясь не разбрызгивать воду, плескаться под ручкомойником.

– Сними это, – попросил он, указывая на крашеную футболку, – я хочу на тебя посмотреть.

Галина подняла на него полные ужаса глаза.

– Хорошо, потом, – улыбнулся он. – Ты ведь не убежишь никуда? – И стал осторожно вытирать чистым полотенцем ее лицо.

– Ты очень красивая, знаешь? Ты мне очень нравишься. Я хочу тебя рисовать. Я хочу тебя.

У Галины все похолодело внутри; она не знала, что отвечать; с ней никто так не разговаривал, да она никогда бы и не поверила словам о своей красоте и желанности, но в его голосе не было насмешки, а в глазах – только искреннее любованье ею.

День прошел суматошно и быстро. В полдень позавтракали, потом приехали какие-то актеры (понедельник в театрах – выходной день), потом решили пойти искупаться километра за два на речку, возвращались полем и березовым перелеском, когда уже садилось солнце. Актеры (один – азербайджанец, второй – русский, москвич) попили с народом чая, попели Окуджаву и часов в двенадцать ночи засобирались на последнюю электричку в Москву.

Азербайджанец, кроме Окуджавы, страстно исполнивший «Очи черные», глядя в Галинины желто-зеленые глаза своими азербайджанскими черными очами, успел сунуть ей в

руку клочок бумажки с записанным телефоном и сказал, что непременно будет ждать звонка, на что Галина, пожав плечами, дала понять, что ей это совсем неинтересно. Сергей, наблюдавший сцену, только усмехнулся в свою молодую бородку, а потом подошел к Галине и молча обнял ее, и это хозяйское его объятие ей страшно понравилось. Она невольно прижалась к нему плечом и боком и впервые, еще не отдавая себе отчета, инстинктом ощутила эту извечную женскую жажду прилепиться к мужчине ребром, под его защитительный покров.

Ночью, когда Анатолий с Татьяной удалились в соседнюю комнату, Галина молча позволила себя раздеть. Ей было страшно.

– Ты очень красивая, – повторил Сергей. – Не бойся, я ничего не сделаю, пока ты сама этого не захочешь. Я хочу, чтобы ты привыкла ко мне, слышишь?

Она благодарно кивнула, и они мирно, по-братски обнявшись, заснули.

– Ну как? – спросила ее на следующее утро Татьяна.

– У нас ничего не было, – скромно ответила Галина.

– Да-а?.. – удивилась Татьяна. – У нас тоже! – И она громко расхохоталась.

Через пару дней Татьяна засобиравалась домой. (Что-то у них с Анатолием, по-видимому, не сложилось.)

– Надо родителей навестить, – объясняла она подруге. – И вообще у меня там что-то вроде жениха.

На робкий вопрос Галины – может, ей тоже лучше уехать? – Сергей бурно запротестовал:

– Никуда я тебя не отпускаю. Тебе ведь в сентябре в университет? Ну вот, останешься в Москве, со мной.

Галина не возражала.

Шел шестьдесят седьмой год. Хрущевскую оттепель подмораживал молодой Брежнев, но на это никто из них не обращал внимания. В моде были Таганка, мини-юбки и сюрреализм. А потому Галина получила новое имя – Галá в память и подражание знаменитой, рисованной во всех видах жене великого испанца.

– А кто эта девушка в замше? – как-то осмелилась спросить Галина.

– Моя бывшая любовница, – сказал он просто.

– Красивая... – с некоторым сомнением произнесла Галина.

– Ну что ты, – улыбнулся Сергей. И добавил, как бы объясняя: – У нее отец министр.

– Министр?! – изумилась Галина. – Как это?..

– Обыкновенно. Мы же в Москве живем.

Вообще-то, конечно, Галина знала о существовании на свете министров, но для нее это были некие мифические существа, живущие где-то там, в заоблачных высотах, вне ее, Галининой, реальной жизни, и чтобы так близко... невероятно! Замшевая – дочь министра, и она, бедный отпрыск двух несчастных, забытых Богом и людьми нищенок, отбила у нее

любовника! Это не укладывалось в голове...

Серж и Галá жили как птицы небесные, ни о чем не заботясь. С утра они никогда не знали, где окажутся вечером и кто приютит их на ночь. Приятелей было много: художники, начинающие артисты, молодые поэты и просто хорошие люди. Несколько раз ночевали у Сергея. Он жил с матерью в маленькой двухкомнатной квартире со смежными комнатами на Вернадского. Мать была странная, тихая и какая-то испуганная, она работала посменно в булочной и называла сына Сергунькой, а другого сына, служившего в армии, Бориской. На появление Галины не реагировала никак, считая, вероятно, ее присутствие в доме неизбежным, а может, и привычным злом.

Деньги у Галины давно закончились. Сергей явно нигде не работал, несмотря на действующий грозный закон о тунеядцах. На что они жили, она не понимала и не спрашивала. Впрочем, траты их были минимальны. Ели они по большей части в гостях, куда Сергей всегда приходил с бутылкой сухого вина. Еще он тратил деньги на сигареты, проезд в метро и чтобы позвонить. В театры и музеи (у него был студенческий билет Строгановского училища, которое он так и не окончил) они ходили бесплатно.

Днем они часами бродили по Москве, то и дело забредая в попадавшийся по дороге музей или храм. Он показывал ей свои любимые переулки и уголки старой Москвы, и она как-то сразу всей душой полюбила этот все еще не до конца

порушенный, мощный и кипучий город, Третий Рим, с его особым столичным шиком и бесконечно теплым, родным и дорогим, неистребимо русским духом.

Иногда они брали рисовальные принадлежности и на целый день уходили гулять на Воробьевы горы и рисовать натуру. (Галина пробовала за компанию рисовать, он находил у нее талант и радовался ее рисункам так же, как радовался ей самой.)

Он постоянно и везде рисовал: карандашом, мелками, тушью, акварелью, маслом, – чем и где придется. И во всех композициях присутствовала она, его Галá. Он любовался ее пластикой, певучими линиями ее тела, тонкостью и благородством (да, да, он так говорил!) черт ее лица, цветом ее волос и глаз. Не было частички ее тела, которой бы он не отдал дань своего восхищения и любви, которая не умиляла бы его своими красотой и изяществом, и, видя его постоянное, неподдельное восхищение, она почти поверила в свою женскую привлекательность.

Она не могла еще сказать, что влюблена в этого высокого, стройного, красивого мальчика, но много позже в своей не слишком щедрой на лирику жизни она часто вспоминала этот единственный и неповторимый месяц и называла его блаженным.

В тот блаженный, ничем не омраченный август она была счастлива отражением его счастья, его желания, его любви.

Они ночевали в тот раз у болгарки, когда их отношения

окончательно перестали быть платоническими. Болгарка была намного старше подопечных и праздновала свое тридцатилетие. Звали ее русским именем Светлана, она вообще обожала все русское: русскую поэзию, русский театр, русскую живопись. У нее была своя квартира в центре Москвы (Галине она показалась роскошной), где и собралось общество, в которое Галина попала совершенно случайно, как временная девушка любимого и балованного всеми «гениального Сержа». Анатолия не было, он получил отставку с того самого вечера, когда так опрометчиво поселил ленинградских девушек на своей дачке. Роль хозяина исполнял на этот раз известный московский бард, фамилию которого Галина не запомнила, как не запомнила, например, чем занимается в Москве болгарка помимо того, что меценатствует и меняет русских любовников. Она ни во что не вникала и, находясь за спиной Сергея, позволяла себе роскошь оставаться в его тени, никого и ничего не завоевывая, довольствуясь тем, что и так уже неволью, не прилагая никаких усилий, «завоевала». Надолго ли? Этого не знал никто.

Двадцать девятого августа она сказала, что ей пора уезжать. Он не возражал. Они пришли на вокзал, и он договорился с проводником довести ее до Ленинграда за три рубля. Остальные два рубля он отдал ей. Мелочь на метро оставил себе.

– Как же ты будешь жить? – спросила Галина.

– Заработаю, – неопределенно махнул рукой Сергей. – Пи-

ши мне, слышишь? Не пропадай.

– И ты, – сказала она, отвернувшись.

– Я скоро приеду, малыш, не плачь.

– Я не плачу.

– Я люблю тебя, – сказал он и повторил: – Жди меня, я скоро приеду.

– Когда? – спросила она сквозь слезы.

– Не знаю. Может быть, завтра, – улыбнулся он.

Но завтра он не приехал. И через месяц тоже. И через два. Зато он писал ей длинные письма, смешные и ласковые, с рисунками, и в каждом письме сочинял для нее сказку. Сказки эти она проглатывала не вчитываясь. Но каждое слово, говорившее о его нежности и любви к ней, она перечитывала и повторяла про себя тысячи раз, и они бальзамом ложились на ее растревоженное сердце.

Он приехал вдруг в ноябре. Пришел в университет, разыскал ее группу. Выходя из аудитории, она неожиданно столкнулась с ним нос к носу. Ноги ее подкосились. Он обнял ее и, ни слова не говоря, молча повел по длинному университетскому коридору в гардероб. Он помог ей надеть старенькое пальтишко, и они вышли на роскошную набережную северной российской столицы.

Погода была самая ужасная: мокрый снег с дождем и ветер. Они зашли в студенческую столовую и выпили чаю с пирожками. Потом просидели два сеанса в кино, держась за руки и прижавшись друг к другу, ощущая прижатыми боками

головокружительное тепло. Говорить не хотелось. Хотелось только касаться. Губами, руками, телом.

В Ленинграде ночевать было негде, и они всю ночь провели на кухне в студенческом общежитии.

– Поехали в Прибалтику, – вдруг сказал он.

– Поехали. – Ей было все равно.

По дороге на вокзал они зашли в ломбард, и она сдала свою новую кофточку за семь рублей. Итого на двоих у них оказалось пятнадцать!

Проводник взял их без билета за символическую плату до Пскова, и они переночевали у знакомых Сергея в однокомнатной квартире с двумя маленькими детьми. Потом они сели в первый попавшийся автобус и доехали до Резекне. Это была уже Латвия. Они побродили по ничем не примечательному городку, в котором все же была маленькая гостиница без удобств. Их долго не хотели селить в один номер, наконец Сергею удалось уговорить старенькую дежурную, и она дала им ключ на одну ночь.

Утомленные дорогой и бессонными ночами, они сразу же заснули, каждый на своей кровати. А утром... рано утром они должны были покинуть гостиницу, чтобы не подводить дежурную, милую старую даму, которая все понимала, но не могла преступить строгий советский закон: Сергей и Галина не были мужем и женой и потому не имели права на совместный ночлег.

Свидание не удалось. Деньги кончались, нужно было уез-

жать, каждому – в свой город.

– Не огорчайся, малыш, – сказал он. – Приезжай лучше ко мне в Москву. На Новый год.

– У меня сессия, – сказала она грустно.

– Ну, на два дня.

– Я не доживу. До Нового года.

Он ответил ей долгим поцелуем:

– Потерпи.

И она старалась терпеть. (А что еще оставалось делать?)

Дни летели быстро. В свободное от занятий время она ходила позировать студентам в соседнюю Академию художеств. Натурщицам платили немного, но ей так хотелось обрадовать его каким-нибудь новым нарядом! С нарядами для простых девушек в те времена было сложно. Посоветовавшись с Татьяной, они решили купить материал и отдать шить в ателье.

Платье вышло отличное. Из тонкой темно-вишневой шерсти, по фигуре, с вышивкой вдоль выреза и по рукавам. Волосы, слегка накрутив, они подняли вверх и небрежно закололи на макушке. Получилось красиво и стильно.

– Ну прямо актриса! – восхищалась Татьяна. – Бриджит Бардо!

– Перестань, – смущенно улыбалась Галина. – Нет, правда ничего?

– Самая красивая девушка Москвы и Московской области! – заверила ее подруга словами знаменитого драматурга

из модной пьесы.

Тридцать первого декабря она выехала из Ленинграда сидячим дневным поездом, как всегда, без билета.

Вот и знакомая площадь с высоткой и тремя вокзалами. Москва! Огромные толпы. Суета. Совсем другой воздух – праздничный!

Она спустилась в метро и полетела по подземным пространствам города как на крыльях.

Вот проспект Вернадского... вот его дом... его подъезд... его этаж... сейчас откроется дверь и она бросится ему на шею!..

Но дверь открыл незнакомый ей человек.

– Я к Сергею, – выпалила она по инерции радостно.

– А его нет, – ответил незнакомец.

– К-как нет? – испугалась Галина.

– Да вы не волнуйтесь, он только что звонил. А вы, наверное, и есть – Галá?.. Хорошенькая, – оценил он. – Раздевайтесь.

Она вошла чужаком в прихожую. В квартире было накурено и людно. Она никого здесь не знала. Народ был по виду богемный, одетый небрежно, в основном в джинсово-кожаные одежды (красивые женщины в каких-то немислимо эффектных украшениях), но в этой небрежности и был особый артистический шик. Ее старательная элегантность выглядела здесь чужеродной, как и она сама.

Стол был уставлен бутылками и кое-какой едой. Все шум-

но пили и ели, что-то обсуждали. В комнате стояла плотная дымовая завеса, и свежий воздух, врывавшийся в открытые форточки, не успевал разбавлять ее ядовитые пары.

Галина села в стороне, с ней никто не заговаривал, на душе становилось холодно и тоскливо.

Тот, кто открыл ей дверь, режиссер-документалист Женья, – высоченный, с большими зальсынами и бородой – догадался принести ей полстакана красного вина с бутербродом.

– Ешьте. А то у нас тут самообслуживание. Без приглашений.

– Скажите, а Сергей... когда он придет?

– Скоро придет, не переживайте. А вы в Питере все такие скучные?

– А где он? – снова спросила Галина, не отвечая на глупый вопрос.

– А ч-черт его знает! – смачнодохнул вином режиссер-документалист. – Вечно он так: назовет гостей, а сам... – Женья сделал неопределенный жест и снова отошел к пирующим.

Галина не знала, что предпринять. Она бы встала и ушла (в ночь, на вокзал, на поезд, в Ленинград!), но ей было мучительно неловко привлекать к себе внимание, и она тупо сидела в уголке, листала какие-то альбомы, делая вид глубокой заинтересованности.

На конец в одиннадцать вечера вошел веселый (и в смысле навеселе тоже) хозяин дома с новыми гостями. Он сразу направился к Галине и поцеловал ее.

– Тебя не обижала эта пьяная сволочь? – спросил он, указывая на гостей, как всегда, ласково улыбаясь.

Она хотела сказать: «Меня обидел ты», – но промолчала.

– Как я рад! – сказал Сергей, не замечая ее подавленности. – Ты надолго?

– Нет, завтра вечером я должна... у меня экзамен второго.

– О, у нас куча времени! – воскликнул он, не дослушав. – Старички! – обратился он к гостям. – Допиваем, что можем, и едем к цыганам!

Экзотическая идея породила радостный вопль и возбудила всех невероятно. Кто-то допивал вино, кто-то уже складывал непечатые бутылки, кто-то заворачивал еду. Компания возбужденно шумела, натягивая на себя шубы и сапоги, не особо веря, что их действительно может ожидать подобное развлечение в двадцатом веке.

На новое платье Галины Сергей не обратил никакого внимания.

Но, Боже мой, кто бы мог подумать, он действительно повез их к цыганам!

Всей гурьбой они ввалились в метро, доехали до Павелецкого вокзала, сели в электричку с редкими запоздалыми пассажирами, к которым отнеслись с братским участием, и сразу предложили выпить. Пассажиров уламывать не пришлось (у каждого и своего такого добра было навалом), и, передавая друг другу откупоренные бутылки, они старательно проводили старый год. Новый они встретили здесь же, пытаясь

пить шампанское прямо из горла. У некоторых получалось, в основном же больше поливали себя и соседей, зато веселью не было границ.

Через сорок минут Сергей скомандовал, и они вышли на какой-то полутемной станции, где их встречала, нет, не тройка, конечно, но все же подвода с лошадыю, которой управлял настоящий цыган Миша.

Народ взвыл от восторга. Всем хотелось потрогать лошадь (старую клячу Мальвину), потрогать Мишу (такого же старого, корявого мерина без зубов, как и Мальвина). Мальвине стали предлагать пироги, Мише водку, но Миша заявил, что он на работе (!) не пьет, а Мальвина замерзла и надо ехать домой.

Миша привез их не в табор, конечно, но, как бы теперь сказали, в место компактного проживания цыган. Они вошли в просторную избу с огромной залой, покрытой коврами (как потом выяснилось, цыгане обожают большие пространства, и в каждом доме есть подобная зала, размеры которой зависят от достатка хозяев); в красном углу висели иконы, предусмотрительно занавешенные тюлем (чтобы не смущать святых возможным грядущим безобразием). Сервант ломился от хрусталя, огромная, и тоже хрустальная, люстра свисала с середины потолка.

Скатерть белая еще не была залита вином, цыганское вино (Бог знает, какого происхождения) еще стояло целехонькое в бутылках, все еще было впереди. По стеночкам чинно сиде-

ли разновозрастные наряженные цыганки с детьми, откровенно разглядывая прибывших гостей и, не стесняясь, громко, на своем языке, перебивая, очевидно, им косточки. Несколько мужчин, в черных пиджаках и ярких рубашках, в начищенных ваксой сапогах, стояли смиренно, как на посту, в ожидании дальнейшего действия.

Никто не знал, сколько было заплачено за этот бал-маскарад, да никто этим и не интересовался.

Древняя цыганка с большим, нависшим над губой носом и массивной золотой серьгой в одном ухе, попыхивая трубкой и глядя на всех с высоты своей столетней осведомленности, вдруг поманила Галину скрюченным пальцем.

– А ты, красавица, не грусти из-за своего короля, – сказала она густым, прокуренным басом. – Придет время, очень ты ему понадобишься. Но ничего у вас, красавица, с этим королем не выйдет. Не терзай свою душеньку. Другой у тебя суженый, еще встретишь.

– Сколько я вам должна? – пробормотала пораженная Галина. – За гаданье.

Плечи цыганки затряслись от смеха.

– Ничего ты мне не должна, красавица. Ничего у тебя нет. А только помни, что я тебе сказала. Не твой это король, поняла? И не жалея.

Тем временем цыганский народ все прибывал.

Все, гости и хозяйева, уселись за одним столом. Начались тосты, еда и питье, потом, естественно, то самое, ради чего

ездят к цыганам, – гитары, пение и пляски.

Пели и плясали, разумеется, не как в театре «Ромэн», но все же московская богема была в восторге. Она тоже пробовала подпевать и, то и дело рыча «чавелла», бросалась вслед за цыганками и цыганскими детьми трясти плечами. Цыгане щерились в улыбках и одобрительными возгласами подбадривали новичков, подвигая их на новые артистические подвиги. После каждой такой «вакхической» пляски, кланяясь гостям, обходили их с серебряным подносом, на который каждый ссыпал все, что еще оставалось у него в загашнике. Устав плясать, гости снова потребовали тройку. Вновь послали за Мальвиной. Но Миша заупрямился и ни в какую не захотел снова запрягать свою древнюю красавицу, объясняя, что лошадь не человек, никаких советских праздников, включая международные, не признает, и что вообще ночью ей положено как скотине спать. «Сам ты скотина», – миролюбиво сказал Мише едва державшийся на ногах режиссер-документалист. Он не хотел никого обидеть, так просто сорвалось, от души, но Миша почему-то обиделся, заругался на своем цыганском языке. Никто ничего не понял, но все стали защищать и уговаривать Мишу не обращать внимания, хвалить Мальвину и предлагать деньги. Магический вид бумажек оказал, как и положено, свое положительное воздействие, и вскоре старой Мальвине снова пришлось исполнять роль лихой русской тройки. Московская братия, облепив сани, с гиканьем и воем покатила по заснеженным просторам

цыганской слободы, сопровождаемая отчаянным лаем всех местных собак.

– Слушай, а почему у тебя нет колокольчиков-бубенчиков? – приставал к Мише режиссер-документалист. – У настоящей тройки должны быть колокольчики-бубенчики! А?.. Хочешь, приезжай ко мне в Москву, я тебе подарю отличные колокольчики-бубенчики! С Валдая! Для твоей Савраски, а?..

Миша презрительно не отвечал.

– Э-ге-гей! – закричала вскочившая в санях во весь свой немалый рост девица в модной, расшитой узорами дубленке. – И какой же русский не любит быстрой езды! Гони, Миша-а!

Миша стеганул Мальвину, та рванула, девица вскрикнула и вылетела из саней. Ее тут же окружили собаки...

После бурной ночи все полегли где придется. Огромная зала напоминала поле битвы, усеянное трупами убитых или, скорее, ранеными, ибо мертвые не храпят, не сопят, не бормочут и не встают по нужде.

– Мне скоро пора. Ты меня проводишь на вокзал? – прошептала Сергею на ухо Галина. Они, как и остальные, прикорнули на каком-то тюфячке, подложив под головы свои пальтишки, заодно и укрывшись ими.

– Погоди, какое сегодня число? – спросил он, ничего не понимая спросонья.

– Первое.

– Тогда с Новым годом, Галá!

– С Новым годом, Сережа.

– Ты что, уже уезжаешь? – переспросил он, все еще плохо соображая.

– Я же тебе сказала...

– Нет, но... погоди. Может, останешься?

– Не могу.

– Так... Всё! Собирайся, едем, – сказал он решительно.

– Куда?

– Ко мне.

Сердце Галины радостно забилось. Они наспех оделись и, ни с кем не простившись, побежали на станцию в скоро наступавших сумерках, стараясь обходить лужи: днем все уже таяло и шел дождь.

И снова электричка, метро, десять минут до подъезда, почти бегом, лестничный пролет, звяканье ключей, дом!..

В квартире был кавардак. Но они ни на что не обращали внимания. Сергей разложил диван, постелил простыни, они быстро приняли душ и легли в постель.

– Господи, как я тебя хочу, – услышала она его голос у самого уха.

Она закрыла глаза, и весь мир перестал для нее существовать.

Потом, когда все кончилось и они тихо лежали, слегка до-трагиваясь друг до друга, она спросила:

– А где твоя мама?

– В больнице.

– А что с ней?

– Шизофрения.

– Как?!

– Нас бросил отец, совсем маленьких, и у нее что-то с психикой.

Помолчали.

– Так ты не знаешь своего отца? Кто он был?

– Не знаю.

– Я тоже. Он сидел в тюрьме.

– За что?

– Я не знаю.

– Раньше все сидели.

– Почему ты так думаешь?

– А у тебя в роду священники были.

– Почему ты так думаешь?

– Фамилия такая...

– Какая?

– Священническая.

– Откуда ты знаешь?

– Это все знают.

– Нет, не думаю. Мой отец воевал. А потом сидел. Мне бабушка говорила.

– А твои родственники тебе не помогают?

– Нет... Я с ними не общаюсь.

Она взглянула на часы и жалобно проговорила:

– Сереженька, мне пора. Последний поезд уходит через час.

Боже, как не хотелось вставать, одеваться, ехать на вокзал, уговаривать проводника, прощаться.

Но они встали, оделись, поехали на вокзал, уговорили проводника, стали прощаться.

Почему-то она смотрела на него как в последний раз.

– Какие у тебя планы на лето? – спросил он.

Она хотела ответить: «Мои планы – ты». Но вместо этого пожала плечами и сказала:

– Не знаю. А у тебя?

– У меня... – он махнул рукой, – громадьё.

– А я вписываюсь в твои планы? – спросила она, сморщив, как бы в усмешке, губы, чтобы скрыть подступавшие слезы и не показать своей критической зависимости от него.

– Ты у меня не в планах, а тут. – Он приложил руку к сердцу.

Она благодарно улыбнулась.

– Провожающие, выходите из вагона, – сказал проводник.

– Провожающий, выходите из вагона, а то я заплачу, – сказала она.

Они поцеловались. Потом он вышел и стоял на перроне, пока поезд не тронулся, а она смотрела на него из вагонного окна и махала рукой.

– Пиши мне, – жестикулировал он, и она, понимая его по жестам, губам и сердцем, в ответ согласно кивала.

Вот и все. Поезд тронулся. Наступил Новый, 1968 год.

После Нового года письма приходили редко. В январе два, в феврале одно, в марте она вдруг получила от него открытку из Сибири. География его свободных полетов ошеломляла.

Она написала ему большое отчаянное письмо, скрыв свою беременность, и в ответ получила такое же большое послание, но, Боже мой, его писал совсем другой человек! Письмо было таким ерническим и жестким (например, он обращался к ней почему-то на «вы»; «Ваше нервное письмо»), что и через много лет, перечитывая все его сохранные письма и дойдя до этого странного и страшного, она, не удержавшись, разорвала его в клочки. Потом, правда, долго сидела и склеивала частички, пускай, все-таки память, а из песни слова не выкинешь.

«Может, он был пьян?» – спасительно думала она. Потому что в конце была человеческая приписка (другими чернилами, отчего она и сделала вывод о его неадекватности): «Не переживай, малыш, и не пиши мне больше, пожалуйста, таких ужасных писем, я ведь все прекрасно понимаю». О том, что он понимает, что делает в Сибири и как долго намерен там оставаться, не написал ни слова.

Между тем зачатому ими ребенку было уже одиннадцать недель (срок критический), и надо было срочно решать: жить ему или умереть. Решать пришлось ей, вернее той же Татьяне. Она заявила, что оставлять ребенка в ее ненадежном положении – сумасшествие, и буквально вытолкала ее в боль-

ницу. Там работал конвейер.

Гуманистический вопрос о правах неродившихся детей тогда еще не стоял.

Христианское же отношение к аборту, как убийству, будь оно громко заявлено полузадушенной к тому времени Церковью, вызвало бы глубочайшее изумление всего общества, если не бурю возмущения и даже агрессивный протест.

С легкой руки Владимира Ильича, положившего начало великой русской мясорубке не только живых, но и неродившихся душ и обеспечившего каждую женщину бесплатной медицинской услугой на детоубийство, аборт вошел в жизнь страны как некое естественное, само собой разумеющееся действие по расчленению младенцев, ненужных в данный момент ни отцу, ни матери, ни тем более государству. И чаще всего в жертву Молоху приносились те благословенные, «отверзающие ложесна» первенцы, которые издревле посвящались Богу. И вот уже почти столетие русскую землю заливает чистая, безгрешная кровь вифлеемских неродившихся чад, а сам новый Ирод продолжает лежать на главной площади бывшего Третьего Рима и принимать поклонение своих подданных.

Конечно, все эти мысли и в голову не могли прийти ни Татьяне, ни Галине, ни миллионам других женщин, ежегодно участвующих в этом невиданном жертвоприношении самому кровавому идолищу всех времен и народов. Но Бог поругаем не бывает, и неразумное население, продолжающее

истреблять своих детей, само катится к своему демографическому концу, вымирая теперь уже по миллиону в год.

Галинин аборт прошел с большими осложнениями. В конце концов врачи ей сказали: если вы еще когда-нибудь забеременеете, считайте это чудом. Что ж, кого-то это заявление, возможно, и обрадовало бы: теперь можно безнаказанно грешить. Но Галина впала в тоску. Она плакала по ночам о своем загубленном мальчике (она знала, что это мальчик) и, выплакивая свое горе, а заодно вспоминая слова старой цыганки, решила оборвать эту принесшую ей такое страдание связь.

Наступила весна. Сергей молчал. Она старалась его забыть.

Но ничего не забывалось. Напротив, желание его увидеть, просто увидеть, усиливалось с каждым днем. Не выдержав, она уехала на майские праздники в Москву. Просто так. Просто чтобы походить по тем же улицам, по которым они ходили вдвоем, подышать тем же воздухом, увидеть тех же людей, окунуться во все то прошлое, на чем лежала его невидимая печать.

Она позвонила режиссеру-документалисту.

– Это Галина, из Ленинграда.

– А! Галá! – обрадовался он. – Привет! Как Питер? Стойт? А Нева течет? Что? В обратную сторону? – Он захохотал. – Отлично! Слушай, ловко вы от нас тогда слиняли. Представляешь, просыпаемся – вас нет. Главное, выпивки никакой. Все пусто! То ли цыгане за ночь выдули, то ли сами. Мы – туда-сюда! Деревня, куда побежишь? Так эти дети природы нас потом до копейки выпотрошили! Каждую рюмку с боем, в смысле мани-мани, представляешь? – баритонил он в трубку, похохатывая. – А ты знаешь, что Серж отчудил? Нет? Ну приезжай...

– Спасибо, я, в общем, проездом...

– А... жаль. А то приходи. И Серега вечером обещал.

– Спасибо. – Она задохнулась. – Может быть... если успею... приду.

Она повесила трубку. «Боже мой, он здесь, рядом, в Москве! Идти или не идти? Получится, что я специально. Навязываюсь. Не пойду!»

Но ноги сами привели ее к Жениному дому.

«Зачем? Зачем? – колотилось сердце. – Что она ему скажет? Как он на нее посмотрит? Зачем?»

\* \* \*

Она позвонила в дверь.

– А! Заходи! – сказал Женя. Он был в майке и в фартуке. – Молодец, что пришла. Поможешь мне салат настрогать. А я, это, мясо пока в духовке... Фирменное блюдо.

– Ждешь гостей? – спросила она.

– Ну!

– И что?.. Сергей обещал?

– Слушай, тут такое дело, только ты правильно пойми... – Он не договорил. Снова раздался звонок, и он пошел открывать.

Она бросилась к зеркалу.

Слава Богу, это еще был не он.

Вошли две хорошенькие длинноногие девицы, с ними невысокий рыжеватый господин лет тридцати пяти.

– Знакомьтесь: Валюша, Нинуша – студентки Шуки, –

ворковал Женя. – А это ихний друг и наставник Петр Васильевич, или просто Петя. А это, можно сказать, знаменитая питерская Галá, любимая натурщица нашего непревзойденного гения Сержа.

– Что-что? – переспросила Галина, сощурившись. – Как вы сказали?

– А как я сказал? Я сказал, любимая женщина нашего многоуважаемого маэстро.

Но гостям было наплевать на такие тонкости. Они никого не знали: ни многоуважаемого маэстро, ни его любимую женщину-натурщицу. Без пяти минут актрисы, они были озабочены другим: кого из них двоих выберет на роль Настасьи Филипповны в их дипломном спектакле Петр Васильевич, их педагог и любовник.

А Петр Васильевич, в свою очередь, сам был озабочен той же проблемой. Больше подходила на роль его бывшая пассия Валентина, но если отдать роль ей, нынешняя дама сердца Ниночка пошлет его очень далеко, чего бы Петру Васильевичу совсем не хотелось.

Все трое были напряжены и по любому поводу начинали болезненно хохотать.

Мясо тушилось. В ожидании фирменного блюда пили вино и кофе и, конечно, сплетничали.

Это выглядело как обсуждение гастролей ленинградского БДТ. Театр находился в зените славы, за билетами поклонники стояли ночами: Доронину обожали, Лебедевым восхи-

щались, по Смоктуновскому сходили с ума. И каждая (каждый) чего бы ни дал, чтобы войти в эту прославленную труппу. Нинуша и Валюша объявили о намерении показаться Товстоногову. Обсуждали все за и против, давали советы, строили предположения, рассказывали случаи из жизни – одним словом, жизнь бурлила, страсти кипели, все были при деле и счастливы.

Галина не участвовала в разговоре, она ждала его прихода, ей было почти дурно.

Но вот – снова звонок.

Он?!

Вошел высокий, худощавый мужчина лет сорока с лицом, напоминавшим Данте или умирающего Блока. Короткая стрижка, узкое лицо, длинный нос, печальные карие глаза и удивительно мягкие, красивые губы. Одет он был в потертый хорошо сшитый костюм-тройку.

– Борис Борисоглебский, – представил его Женя. – Поэт.

– Кто ж Борю не знает, – сказал Петя, развязно подходя к гостю и вальяжно здороваясь с ним за руку. – Борю каждая собака в Москве знает.

Не обращая внимания на «собаку», поэт встал у стенки, заложив руки за спину, и своими темными, бархатными глазами стал неподвижно смотреть на Галину.

– Офелия... – прошептал он едва слышно.

– Нет, Боря, – ласково поправил его Женя. – Это Галá из Ленинграда.

– Я хочу прочесть вам стихи, – сказал Боря тихо, обращаясь к Галине.

– Валяй, – разрешил Женя. – Только не длинные. А то давеча тоже объявил стихи, а пришлось выслушивать аж целую поэму.

Не дожидаясь дальнейших комментариев, Боря стал читать тихим, глухим голосом что-то, Галине показалось, очень хорошее. Она пыталась сосредоточиться, но мысли ее были заняты другим. До ее рассеянного сознания долетали лишь отдельные обрывки строф, не складывавшихся в смысл, но очень красивых и странных. Борис читал долго, глядя уже не на Галину, а куда-то сквозь нее, в одному ему известные глубокие выси и далекие дали, вероятно, туда, откуда и диктовались ему эти строфы... Наконец он кончил.

– Молодец, старик, – одобрил его Петя, – растешь.

Похвала режиссера никак не отразилась на лице Борисоглебского. Он снова молча и печально уставился на Галину.

– А где вас можно прочесть? – поинтересовалась одна актриса.

– Да, где вы печтаетесь, Боря? – решила не отстать от подруги в культурно-познавательном плане другая.

Он посмотрел на них сверху вниз так, словно они спросили несусветную чушь.

– Я нигде не печатаюсь. – И глаза его горделиво блеснули. – Меня будут печатать после моей смерти.

С этим уверенно-скорбным утверждением трудно было

спорить. Но Женя примирительно заявил:

– Ты преувеличиваешь, старичок. Времена меняются. Хочешь, я снесу твои вирши в «Юность»? У меня там приличные кореша.

– Я вас видел сегодня во сне, – трагически прошептал Борис Галине. – Вы шли в горах с тремя белыми розами...

– Я никогда не была в горах, – сказала Галина.

– У вас божественный тембр. Умоляю, скажите что-нибудь еще.

– Отстань от нее, Боря, – сказал Женя. – Девушка занята.

– Кем? – меланхолично произнес поэт.

– Кем-кем? Какая тебе разница? Мной.

– Ты не соперник, – резонно возразил Боря. – Будьте моей музой, Офелия...

– Ты, конечно, Боря, национальное достояние, никто не спорит. Но посмотрите на его... мм... костюм, Галá. Ты что, хочешь испортить девушке жизнь?

– Я не пью, – почему-то быстро сказал Боря.

– Никогда не говори «никогда», старичок.

«Неужели он пьет? – подумала Галина. – Как жаль».

Она взглянула на него с сочувствием, почему-то как к брату по несчастью.

Но тут снова прозвенел звонок.

Он!

Вошел он. Красивый, уверенный, с веселым, искрящимся взглядом, как всегда.

«А, – промелькнуло у нее в голове, – это у него вообще, безотносительно меня, такой взгляд. Это он всегда так смотрит, на всех».

Собрав все свое мужество, она, как ей казалось, спокойно и просто поздоровалась с ним:

– Здравствуй, Сережа.

– Здравствуйте, Галá, – ответил он ей на «вы», и от этого выканья ее белая кожа с крошечными точечками веснушек стала розовой.

Он не ожидал, но и не смутился.

Он был не один. Вслед за ним вошла молодая женщина ошеломляющей красоты. Высокая, крупная, белокожая, с вихревым потоком слегка выющихся золото-рыжих волос, синими глазами и яркими губами. Она была настолько ослепительно хороша, что даже юные актриски перестали на мгновение решать свои театральные кроссворды, а Петя просто и откровенно пожирал ее глазами сверху донизу.

«Господи, – думала Галина, – откуда же он ее привез? Из Сибири?»

– Познакомьтесь, это Александра, Саша, моя жена, – представил он Галине свою живописную красавицу.

Этот второй удар в ее жизни внешне она перенесла гораздо тверже, чем первый, когда бабка резанула ей про отца, но по последствиям он оказался страшнее: эта рана так никогда и не зажила в ее сердце.

Саша, или, как он ее еще называл, Саския, щедро улыба-

лась, показывая свои великолепные зубы, и чувствовала себя королевой. Она садилась к нему на колени, обвивая его шею руками, и глаза его так же искрились радостью, он улыбался ей так же нежно, как когда-то Галине.

Эта мизансцена ей что-то сильно напоминала. «Ах да, ну, конечно, Рембрандт, автопортрет с Саскией».

У Сержа был период увлечения великим голландцем.

Внутренне она умоляла Женю, чтобы он не оставлял ее одну, и, словно почувствовав ее мольбу, он не отходил от нее, оказывая всяческие знаки внимания. Это ее немного спасало.

Что касается Борисоглебского, он исчез так же внезапно, как и появился, пригласив на прощанье все общество на творческий вечер молодых московских поэтов в Дом культуры имени вездесущего Ильича, где Боря выступал в качестве самого старого и заслуженного из молодых и почти мэтра. Но внимание всего общества принадлежало уже не поэту, но новой «музе» «гениального» живописца Сержа. И слова Борисоглебского потонули в восхищенно-завистливых (смотря по тому, кто смотрел) взглядах и репликах честной компании.

«Боже мой, – думала Галина, – как права была Таня. Только представить себе ее здесь, в присутствии этой Саскии, с животом!.. Вот стыд! Нет, нет, все правильно. Никаких больше любовей и никаких детей!»

Когда гости ушли, она сказала Жене:

– Я сегодня останусь у тебя. Не возражаешь?

Он ошеломленно не возражал.

– Давай поженимся, – сказал он ей утром.

– Ты с ума сошел, – ответила она.

– Почему? Ты мне очень нравишься... Сразу понравилась, еще зимой.

– Я не люблю тебя, – сказала Галина сухо и стала одеваться.

– Ну извини, – оскорбленно сказал он.

– Ты тоже. Не обижайся. Счастливо. – Она уже стояла у дверей.

– Может, тебя, это, проводить?

– Не надо, Женя. Пока.

Она захлопнула за собой дверь, постояла немного на лестничной площадке и стала медленно спускаться с десятого этажа.

Ах цыганка, цыганка, и откуда ты все это знала!..

## 4

Прошел почти год. От Сергея не было ни слуху ни духу. Нет, она не жила монашкой. Время от времени появлялись ухажеры, она никого не отталкивала, но никто из них не только не сумел занять место ее возлюбленного, но даже приблизиться или посягнуть на него. Она равнодушно позволяла кому-то из ухажеров иногда с собой спать, но это не было еще поводом для знакомства, как впоследствии кто-то из новых молодых авторов сформулировал стиль таких отношений. Сердце ее оледенело.

Неожиданно зимой она получила от него телеграмму. В ней было всего шесть слов: «Очень хочу тебя видеть. Приезжай. Сергей».

Слова поплыли у нее перед глазами. Она отложила телеграмму, походила по комнате, желая успокоиться, и снова впилась в эти немыслимо сказочные для нее строчки, словно пытаясь проникнуть в их иной, зашифрованный, потаенный и истинный смысл.

«Очень хочу тебя видеть» – снова и снова перечитывала она. «Он хочет! Зачем? Зачем?» – пыталась она его или себя. «Приезжай», – звал Сергей. «Нет! Никогда! Никогда больше не приеду к нему!»

«Никогда!» – сказала она себе твердо. Но ноги сами понесли ее на Московский вокзал.

Она не понимала, почему это делает. Она ничего не ждала от этой встречи, ни на что не надеялась. Она ехала потому, что просто не могла не ехать. Как не может не вдыхать свежий воздух арестант, просидевший год в подземелье.

Сердце ее разжалось, снова она ощутила неслыханную свободу, ей стало необыкновенно легко, радостно, звонко, словно свалилась гора с плеч и в душе снова зазвонили колокола! Она действительно не чуяла под собой ног, когда ехала-летела в поезде, а потом в метро, как это бывало всегда-всегда, когда она мчалась к нему на свидание.

– Я тебя ждал, – сказал он, помогая ей раздеться, и, еще холодную, с улицы (был март), прижал к себе.

– Подожди, – отстранилась она. – Дай я привыкну. А то у меня голова кружится.

Они вошли в комнату. Здесь ничего не изменилось. По-прежнему стояли холсты, подрамник с незаконченным женским портретом (тонкое лицо, длинная шея, на голове гирлянда цветов, что-то вроде «Флоры», ей было не до ревности, все равно!), пахло лучшими в мире «духами» – масляными красками и всем остальным, чем пахнет у художников в мастерских.

– Что ты рисуешь? – спросила она рассеянно, глядя на разбросанные всюду листки.

– Театральный заказ. «Волки и овцы».

– Любишь Островского?

– Почему бы и нет?

– Ты один?

– Как видишь.

– А где мама... жена?

– Мама в больнице, – сказал он спокойно. – А жена, с твоего позволения, уехала обратно.

– Надолго?

– Думаю, навсегда.

– Понятно.

Она снова походила по комнате.

– Кто это? – спросила она, кивнув на недописанную «Флору», просто чтобы что-то спросить.

Он подошел к ней, взял за плечи и развернул к себе. И, глядя ей прямо в глаза своими темными сияющими глазами, сказал:

– Неужели ты до сих пор так ничего и не поняла?

– Что... я должна понять? – спросила она, и две крупные слезы выкатились из ее глаз.

– У, какие соленые... – сказал он, улыбаясь и слизывая языком ее слезы.

– Что я должна понять? – переспросила она упрямо.

– Что ты – моя женщина, – произнес он отдельно и ясно. – Что бы ни случилось, ты всегда должна это знать. Моя единственная. Моя любимая. Просто – моя. Теперь понятно? – сказал он, улыбаясь.

Она, уткнувшись ему в грудь, разрыдалась.

– Ну что ты, глупенькая?.. – Он усадил ее на колени и, осу-

шая слезы поцелуями, утешал и гладил, как маленькую девочку, по голове. – Перестань... Я люблю тебя... И не обращай внимания на разных маленьких московских шлюшек... Поняла?

– А разве ты не можешь?..

– Что?

– Без них? – спросила она, стесняясь.

Он ничего не ответил. Потом сказал:

– Потерпи немного. Хорошо?..

– Ладно, – сказала она, глубоко вздыхая. – Потерплю.

Сколько смогу.

И они мирно и дружески поцеловались.

– Выпьешь чаю?

– Да. Только сначала в ванну.

– Мой халат на вешалке.

Она вышла из ванной в его стареньком махровом халате, и он сразу обнял ее и повел в комнату, где уже расстелил для них постель.

– Чай потом, – сказал он.

Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. И сразу же почувствовала то, что чувствовала всегда, оказываясь с ним рядом, – невероятный покой. словно душа после многих мытарств очутилась наконец у себя дома, на своем месте...

Такой полноты счастья они еще не знали. словно все, что испытывали они до этого дня, было только прелюдией, настройкой, подготовкой к слиянию их душ и тел, и они молча

переживали только что произошедшее с ними чудо, иногда нежно и благодарно касаясь друг друга.

– Знаешь, – сказал он ей тихо, – я хочу уехать отсюда.

– Снова в Сибирь или на Дальний Восток? – безмятежно улыбалась она, рисуя пальцем на его плече какой-то замысловатый узор.

– Совсем уехать. Из страны.

Она приподнялась на локте и посмотрела ему в глаза.

– Ты шутишь?

– Нет, серьезно.

– Зачем?! – Она чувствовала, что снова летит в пропасть.

– Ну если это надо объяснять...

– Нет, не надо. Если тебе так нужно, поезжай, – сказала она, по-видимому, легко, но уже прощаясь навсегда с только что безмятежно мелькнувшим счастьем.

– Я знал, что ты меня поймешь.

– Но как же тебя выпустят? – еще цепляясь за неверную надежду, спросила она. – Это невозможно...

– Я сделаю фиктивный брак. С одной американкой.

Ее сердце снова сжалось в комочек, она застыла.

– Ну что ты, малыш! – Он пытался ее растормошить. – Что ты... Когда я как следует устроюсь там, я тебя вызову... Потерпи. – Он снова стал целовать ее похолодевшие плечи и руки.

– Нет, – сказала она устало. – Этого не будет никогда. Я не хочу ехать в Америку.

– Даже со мной?

– Я хочу спать, милый. Я очень устала.

Ночью она делала вид, что спит. Он не делал никакого вида. Он тихо и мирно спал. Иногда она смотрела на него, спящего, с грустной, прощальной лаской или просто лежала с закрытыми глазами, ни о чем не думая, легко, словно вбирала в себя и прижималась к его телу, касаясь губами того места на его теле, которое попадало в область ее губ.

Она заснула только под утро. А когда проснулась, он уже что-то рисовал.

– Не хотелось тебя будить. Ты так хорошо спала. – Он показал ей набросок, который только что сделал с нее, спящей. – Принести чай?

– Принеси.

Он молча пошел на кухню.

«Что же делать?» – думала она тоскливо и, конечно, не находила ответа.

Они выпили чай и снова легли в постель. На этот раз все было не так, как вчера. Она лежала с открытыми глазами и продолжала думать свою нескончаемую думу.

– Ты что, малыш, не хочешь? – спросил он.

Она не ответила. Потом, чтобы не обидеть его, сказала:

– Хочу. Конечно, хочу. – Она с нежностью стала тихонько целовать его лицо: глаза, брови, нос, губы, – словно прощаясь с ним навсегда, словно пытаюсь запомнить его лицо, его тело, его запах на всю жизнь. И ее легкие, нежные ласки

снова вызвали вчерашнюю бурю, и она не понимала, сколько же может продолжаться это вулканическое сотрясение и есть ли у него предел.

– Ты еще поживешь со мной? – спросил он, выразившись не совсем удачно, имея в виду, есть ли у нее еще свободное время, чтобы побыть подольше в Москве.

Но она вдруг оскорбилась: «Поживешь!.. Даже кошку или собаку берут на всю жизнь, а не „пожить“, а потом выбросить на помойку». И, посмотрев прямо в его темные глаза, сказала:

– Я бы хотела с тобой жить и умереть. А «пожить» – это из другой оперы.

– Как знаешь, – ответил он сухо, потому что тоже был горд.

Помолчали. И в этой молчаливой паузе вдруг выросло и встало между ними нечто маленькое, злое и враждебное им обоим, отчего сразу сделалось холодно и неуютно.

Это нехорошее облачко, появившееся невесть откуда, неожиданным и незванным недругом зависло над ними, и чем дольше оно висело, тем отчужденнее они становились друг другу.

– Когда ты уезжаешь? – спросила она.

– Не знаю, думаю, осенью.

– Значит, больше не увидимся?

– Это зависит от тебя.

– Если бы это зависело от меня, ты бы никуда не уезжал.

– Это упрек?

Она промолчала.

– Я тебе, кажется, уже писал, что не переношу упреков и никогда не позволю любимой женщине этой пошлости.

«Любимой женщине ты будешь позволять все», – подумала Галина и сказала:

– Ты меня проводишь? В последний раз...

– Когда ты уезжаешь, сегодня?

Она хотела уехать завтра, но в его «сегодня» ей послышалось его нетерпение поскорей от нее отделаться, и она сказала:

– Да.

Она ушла в ванную и, включив на всю мощь воду, громко, не опасаясь, что он услышит, рыдала, а потом долго приводила себя в порядок, чтобы он не заметил такой «пошлости», как ее слезы.

«Все к лучшему, – думала она в поезде. – Пусть уезжает. Иначе это никогда не кончится. Иначе не освободиться от него. Пусть едет в Америку, на Северный полюс, на край света. Пускай женится на американках, еврейках, негритянках». У нее, Галины, своя жизнь, своя судьба, свой суженый, как сказала цыганка, которая, снова и снова убеждалась Галина, была тысячу раз права!

Генерал КГБ Евдокимов Александр Степанович нервничал. На днях ему доложили, что его старший сын от первого брака Сергей Александрович Евдокимов готовится выехать из страны. Хотя формально («этот чертов сын») даже имел на это право («развели, понимаешь, либерализм!»), поскольку женился («дур-рак!») на какой-то иностранке («авантюристке!»). Этот факт мог быть использован врагами Евдокимова против него. А врагов было много. Враги были всегда. Они только меняли обличье.

Этот первый «преступный» брак («по молодости, по глупости!»), принесший ему столько неприятностей в жизни, ему великодушно простили. Он и не пытался впоследствии его скрывать, прекрасно понимая, что каждый человек, которым интересуется система, просвечивается со всех сторон, как на рентгене. «Преступность» заключалась в том, что его первая жена оказалась в войну под немцами. Этого было достаточно, чтобы испортить его начинающуюся карьеру, и Евдокимов предпочел не рисковать.

После развода жену арестовали, а обоих сыновей сдали в детдом. Правда, ненадолго. Через пару лет жену выпустили из лагеря по причине начавшейся у нее душевной болезни, и Александр Степанович через третьих лиц помог ей соединиться с детьми и даже выхлопотал для них комнатенку в

Москве, что свидетельствовало все же о его мягком сердце и любви к брошенной семье.

Спустя некоторое время он вторично и очень удачно женился на дочери своего начальника, чернобровой и краснощекой хохлушке Оксане, которая родила ему последовательно двух дочерей: Веру и Любу.

Тесть стал гарантом как его продвижения по службе, так и всего их семейного счастья. Чины и награды, как и полагалось, следовали бесперебойно, а вместе с чинами и все, что им сопутствовало: квартира, дача, машина, спецраспределители. «Жизнь удалась», – усмехался Александр Степанович. Он охранял родину от врагов и считал эти блага заслуженными.

Жена, отличная хозяйка и мать, с ровным, веселым характером его не раздражала. Она никогда не лезла в его дела, не докучала глупыми вопросами и не пыталась проявлять самостоятельность или женскую власть. Она целиком и полностью подчинялась мужу; он это ценил. В семье ему было покойно; он отдыхал «в своей крепости» душой и телом. Дочери тоже вышли удачные; одна краше другой. Правда, обе были без ума от театра и собирались («дуры») в артистки, но этого, заявил он дочерям, пока он жив, не будет никогда.

Насколько вторая семья была во всех отношениях удачной, настолько первая представляла для Александра Степановича сплошную головную боль. К чести сказать, он и в дальнейшем не выпускал из виду свою хрупкую, болезнен-

ную Анну Капитоновну, кроме жизни в оккупации, имевшую еще одну непростительную вину перед советской властью – непролетарское происхождение. (Ее отец-нэпман держал в Москве несколько булочных-кондитерских и был в свое время органами заслуженно расстрелян за спрятанное на черный день золотишко.) И когда начались грандиозные застройки новых районов Москвы, Александр Степанович помог бывшей жене с детьми получить отдельную квартиру. Все это, разумеется, он делал втайне от Анны Капитоновны и тем более от Оксаны Григорьевны, благодаря надежным, структурным связям.

С Анной Капитоновной, Анечкой, он познакомился в маленьком белорусском городке, куда Анечкина мать после расстрела своего супруга-нэпмана вынуждена была бежать к родственникам. Жили тихо, помня о своей социальной чуждости. Мать Ани, в свою очередь, была дочерью мелкого царского чиновника, давно уже умершего, и прекрасно отдавала себе отчет в том, что по неписаным, но строго исполняемым советским законам они с дочерью вовсе не должны были бы жить и дышать. А уж если им это милостиво позволила советская власть, то, по крайней мере, дышать как можно реже, чтобы не отнимать воздуха у социально благонадежных граждан, у которых, кстати, также, кроме воздуха, мало что было.

Все же Аня сумела окончить семь классов. Учиться дальше она не могла, мать болела, надо было зарабатывать на

жизнь. Ее взяли в столовую посудомойкой, где ей приходилось мыть не только горы грязных тарелок, но и огромные котлы и чаны, в которых варилась еда и мылась посуда. Она изнемогала. Бросить работу – нечего было и думать. Мать жалела Аню и каждый день плакала об ее тяжелой жизни, но что она, медленно тлеющая в чахотке, могла сделать?

Началась война. Немцы очень скоро заняли город. Выхода было два: умереть или идти в партизаны.

В партизаны они не пошли и стали готовиться к смерти. Время от времени немцы устраивали облавы; евреев расстреливали сразу, молодых и крепких славян угоняли в Германию на работу.

И хотя Анечка была по виду заморыш, они все равно боялись, что их разлучат и тогда уж они наверняка точно погибнут.

Так они прожили под немцами два года, питаясь иногда лебедой и картофельными очистками. Однажды в доме, где они ютились Христа ради у родственников, поселился немецкий чин, потребовавший, чтобы Аня убирала его комнаты и мыла полы. За это они получали кой-какие продукты. Никто не думал тогда, что это будет расценено вернувшейся советской властью как добровольное сотрудничество с немцами. Маленькая Аня и ее мама просто хотели жить. Между тем государство требовало от своих граждан другого: уменья умирать. На трудовом фронте, на поле боя, в тылу врага.

После освобождения от немцев в городе открылся вре-

менный военный госпиталь, и Аню взяли на кухню, но уже не посудомойкой, а раздатчицей пищи. Впервые за последние годы Аня сытно поела и немного поправилась. Она оставалась такой же худенькой и хрупкой, но щечки ее чуть округлились и порозовели, появились и робкие признаки пола.

Вскоре в госпитале появился молоденький, красивый лейтенант. У него были прострелены обе руки, и сострадательная Аня частенько его кормила. Лейтенанту очень понравилась черноволосая хрупкая девушка с глазами газели и крошечной темной родинкой на щеке. Завязался невинный роман. После выздоровления лейтенанта они расписались. Теперь мать Ани могла спокойно умирать – у ее дочери был муж и защитник. Через три дня после регистрации брака лейтенант вернулся на фронт, а через девять месяцев у них родился сынок Сережа.

После войны Саша Евдокимов вернулся к семье. Мать Ани к тому времени умерла, Аня с маленьким сыном на руках дожидалась мужа. Их встреча, как и все послевоенные победные встречи, была душераздирающе счастливой. Второй их сын родился в начале сорок шестого.

Неожиданно Саше Евдокимову предложили вступить в партию и перейти на работу в органы. Анкета у него была почти безупречна. Безупречность ее нарушали разве что четыре Георгиевских креста, полученные его отцом в Первую мировую войну, но распропагандированный товарищами из центра георгиевский кавалер, прапорщик Степан Евдоки-

мов, вовремя повернул свой штык на буржуев. Дезертировав с фронта, он все же сумел правильно потом погибнуть, перейдя на сторону революционной Красной армии, и Саша получил путевку в новую жизнь как сын героя Гражданской войны, застреленного белогвардейцами.

Александр Евдокимов вполне сознавал доверие, оказанное ему советской властью, и готов был служить ей верой и правдой, не щадя, как и на войне, своей молодой жизни. Но существовало одно «но» – сотрудничество его жены с немцами. Он не стал доказывать явную абсурдность этого обвинения, товарищам из органов было виднее. И хотя мытье полов не вполне вписывалось в категорию добровольной помощи немцам, однако по доносу соседей на Анечку было заведено уголовное дело. Да и как же иначе? Ведь добровольных помощников у Гитлера в общей сложности было до семисот тысяч человек советских граждан (в составе одной только армии Паулюса под Сталинградом их оказалось около пятидесяти двух тысяч!). А всего на службе у немцев, включая полицейские, охранные и боевые части, находилось по разным подсчетам от полутора до двух миллионов человек. Эту огромную массу «пособников и предателей» нужно было после окончания войны органам переварить, рассортировать и каждому наложить соответствующее вине наказание.

Саша Евдокимов покаялся за свою легкомысленную жену, и порадовавшиеся за него товарищи предложили ему развестись. Не нужно думать, что Саше это было легко. Он любил

свою милую, кроткую Анюту, любил малышей, но... родина снова позвала его, Сашу Евдокимова, на защиту. А для этого ей, родине, была нужна его чистая биография, потому что только чистым советским людям могла быть доверена эта великая миссия – очищать страну от явных и скрытых, видимых и невидимых и даже потенциальных врагов. И он сказал ей:

– Аня, я тебя люблю. И я никогда вас не брошу. Буду помогать вам всю жизнь, клянусь! Но, пойми, я вступаю в партию и перехожу на важную секретную работу, а ты жила под немцами, понимаешь? Мы должны развестись.

Она с кротостью и смирением приняла это жестокое решение своего любимого Саши, ни словом не упрекнула, понимая современную правду его слов. Она только стала немножко странной. Странность перешла в болезнь, но нет худа без добра: это помогло ей потом досрочно освободиться из лагеря. А когда Саша Евдокимов пошел в гору, он перевел их в Москву, к себе поближе, чтобы заочно, но близко, недреманным оком наблюдать, как растут его сыновья.

Они (безотцовщина!) не знали и не чувствовали этого слежения. Тем отраднее было Александру Степановичу невидимо помогать им, когда требовалась помощь, и он всегда незримо появлялся и спасал ситуацию. Так через своих людей он помог сыну остаться в Строгановском училище, откуда его хотели изгнать за антисоветское поведение, или когда Сергею нужно было получить белый билет, так как разумно

полагал, что из него никогда не получится хороший солдат. Вот ведь не стал же он освобождать Бориса. Впрочем, Борис звезд с неба не хватал и особых хлопот у отца с ним не было.

И вот теперь, стоя у окна в своем великолепном кабинете, Александр Степанович нервничал еще и оттого, что должен был впервые встретиться со своим первенцем лицом к лицу. Первенцу же и в страшном сне не могло присниться, кто его вызывает на допрос.

– Проходите, Сергей Александрович, садитесь, – ему доставляло удовольствие называть сына по отчеству.

«На кого же он больше похож? – думал генерал, глядя в красивые, выразительные черты сына. – На мать? Пожалуй. А вот лоб и подбородок – мои».

– Кúрите? – спросил он и бросил на стол пачку дорогих импортных сигарет.

– У меня свои, – усмехнулся Сергей, доставая трехпечечный отечественный «Дымок».

«Вот и когда улыбается, тоже... что-то неуловимое мое», – продолжал разглядывать сына Евдокимов.

Оба закурили.

– Значит, хотите уехать, Сергей Александрович? – взял быка за рога Евдокимов.

– Хочу, – искренне ответил Сергей, ясными глазами взглянув на Александра Степановича.

– Как же так, государство вас учило, заботилось...

Сергей пожал плечами.

– Сердцу не прикажешь, – лукаво улыбнулся он.

– Бросьте, Евдокимов. Вы, кстати, заметили, мы с вами однофамильцы? – попробовал пошутить генерал.

– Уже нет, – скромно возразил Сергей. – Теперь у меня фамилия жены, американской подданной.

– Ах вот как! – вспыхнул генерал. – Решили, значит, все поменять – и родину, и фамилию?

– Решил.

– Так... Ну а мать не жалко бросать? Как, отец-мать отпускают?

– У-у... – Глаза у Сергея сузились и стали походить на кошачьи. – Что же это мы с вами, Александр Степанович, в кошки-мышки играем? Вы же все про меня знаете. Отца у меня нет. – Он прямо посмотрел в глаза Евдокимова.

Генерал вздрогнул. «Знает или не знает? Неужели знает?»

– Мать больна...

– Вот именно! – зацепился Евдокимов. – Оставляете больную мать на произвол судьбы!

– У меня есть брат, и вы прекрасно знаете, он через месяц демобилизуется.

Генерал сник.

– Значит, ничего и никого не жаль оставлять, – констатировал он.

– Нет, одного человека жаль, – снова улыбнулся Сергей.

– Кто же это? – встрепенулся Александр Степанович.

– Так я вам и скажу, – дразнил генерала Сергей.

– Галá из Ленинграда, – усмехнулся тот, догадавшись.

– Вы что, следите за мной?! – расвирепел вдруг Сергей.

«Конечно! А ты как думал? Мальчишка! Щенок! Сопляк!» – гневно сопел про себя генерал, но, сдержавшись, сказал:

– Следить не следим, а на выставках иногда бываем. Очень выразительная девушка.

– Вы, собственно, зачем меня вызвали? – сухо спросил Сергей. – Запретить мне выехать вы не можете...

– Не можем. К сожалению.

– Тогда... «какого черта вы меня мурыжите?» – продолжил про себя Сергей.

– Побеседовать хотел. Может, одумаешься...

– Мы с вами уже на «ты»?

«Дурак, дурак, – думал Александр Степанович. – Пропадешь!» А вслух:

– За учителем вашим едете, Эрнстом Неизвестным... Далась вам эта заграница... медом намазана... Бросаете Родину... ради сраных долларов! Нет, – с чувством вдруг произнес генерал, – прежняя эмиграция – не чета вам! Да чтоб только одним глазком на родину поглядеть, воздух ее нюхнуть – в лагерь шли, на смерть! А вы!.. – Он презрительно скривился не договорив.

– Александр Степанович, если вы такой патриот, отчего же вы заграничные курите, а я, такой-сякой предатель родины и прохвост, московский «Дымок» смолю?

«Оттого, что у такого дурака денег никогда нет и не будет!» А вслух:

– Я вообще не курю, – и загасил сигарету. – А «Мальборо» – так, для гостей.

– Значит, и гости ваши такие же дерьмовые патриоты, как вы. – И наклонившись, глядя прямо в лицо генералу, сказал: – Дай вам волю – вы первые на Запад рванете. «Мальборо» – это только начало. А там – мерседес, виллы, Канарские острова... Знаю я вас, чекистов! – И он рассмеялся.

– Что?! – побагровел Евдокимов. – Вон! Вон отсюда! Сейчас же! Негодяй! Паршивец! Вон! Трофимов! – заорал он. – Вышвырни этого гаденыша вон!

– Всего доброго, – вежливо сказал Сергей.

Трофимов уже заламывал ему руки.

– Без членовредительства, Трофимов! – выдохнул генерал. – Пусть убирается ко всем чертям! Скатертью дорога!

Оставшись один, генерал еще долго не мог отдышаться. Потом достал валидол, положил под язык, лег на диван и погружился в мрачные думы.

Домой он пришел не в духе.

Оксана Григорьевна, за двадцать лет совместной жизни научившаяся понимать настроение мужа по одному лишь хлопанию входных дверей, знала: сегодня с домашними проблемами лучше к нему не подходить. Но вопрос не требовал отлагательств.

– Шурик, – сказала она с волнением. – Верочка приходила

со своим. Они... они собираются расписаться!

«Началось!..» – подумал Евдокимов и недовольно спросил:

– С кем это?

– Да с Васькой же!.. С Таганки... – плаксивым голосом сказала Оксана, зная нелюбовь супруга к непослушливому, вольномысленному театру.

– С этим... антисоветчиком?!

– Ему уже заслуженного дают, – вступилась Оксана Григорьевна за потенциального зятя. – И в газетах хвалят!

– Скажи Верке: через мой труп! – рявкнул Евдокимов, но он уже больше не был способен на громы и молнии, весь запас их он израсходовал на своего любимого первенца, сына Анны Капитоновны, его первой, шизофренической жены.

Галина училась на пятом курсе, пора было задуматься о дальнейшей судьбе.

Уехать по распределению из Ленинграда она уже не могла, настолько приросла к этому гибельно-роскошному городу. Остаться же, не имея прописки, можно было в двух случаях: выйти замуж или поступить в аспирантуру.

Выходить замуж ей не хотелось, да, честно говоря, и не за кого. Все силы она бросила на учебу. Ей удалось на отлично защитить диплом и остаться в аспирантуре.

Домой за все эти годы она не ездила ни разу, отделяясь несколькими открытками в год: жива, здорова, учусь хорошо, все в порядке, Галина. В ответных письмах мать также была немногословна, хорошо понимая, что дочери неинтересна их нищая, жалкая жизнь и бесконечная, беспричинная ругань.

Галина сообщила матери о поступлении в аспирантуру, но приехать навестить родных отказалась.

В сентябре появился в Ленинграде Женя. Он приехал на новеньких жигулях по делам. А может, и не по делам, а просто, чтобы повидаться с Галиной, кто знает: вдруг на этот раз ему больше повезет? Он нашел ее в университете и пригласил пообедать в ресторане Дома актеров на Невском.

Он шел рядом, невольно любуясь Галиной. Она не то что-

бы сильно изменилась или особенно похорошела, в ней появилась женская уверенная стать. Она была все так же худа и стройна, белокурые волосы так же свободно лежали на плечах или собирались на затылке в пучок, ее чистое от косметики лицо (почему-то она так и не захотела его рисовать, как не стала, впрочем, и курить) казалось особенно благородным и милым.

Они сидели за столиком, ели бифштекс, запивая красным вином. Женя рассказывал ей (довольно интересно) о своих поездках на Север и Дальний Восток, где они снимали фильм о военных моряках, потом перешел на московские театрално-киношные сплетни; ей было скучно.

Потом он спросил о ее дипломной работе.

– Протопоп Аввакум, – коротко ответила она.

– Это что-то, помнится, из древности? – не понял он.

– Не совсем. Семнадцатый век.

– Что это ты ударилась в такую дремучесть? Тебе бы больше Ахматова – Цветаева и прочие серебряные леди...

– Извини.

– Да нет, я просто... Прости, но ты чертовски похорошела, – не удержался Женя и положил свою руку на ее маленький кулачок.

– Ты преувеличиваешь, – спокойно сказала она, высвобождая руку.

«Кажется, зря приехал», – подумал Женя и между прочим сказал:

– Да, кстати, Сергея мы проводили.

– Когда? – удивляясь своему спокойствию, спросила Галина.

– Да вот, пару месяцев как. В июле.

Помолчав, она делано равнодушно спросила:

– И что же у него за американская жена?

– Да дура! – простосердечно ответил Женя.

Галина рассмеялась.

– Что же это у него всё дуры да дуры?

– Должно быть, потому, что сам дурак. – Это было сказано с подтекстом, в том смысле, что только дурак мог бросить такую замечательную девушку, как Галина, которая только глазом моргни – и он тут же готов, руку и сердце в придачу к московской однокомнатной квартире и новеньким жигулям.

Галина думала о том же. Она попыталась представить себе Женину лысоватую голову на одной подушке с собой, и ей почему-то стало нехорошо. Да нет, лучше уж одной.

– Да, тут еще... он просил передать письмо, – честно исполняя дружеский долг, сказал наконец Женя.

– Письмо?.. – Она вдруг заволновалась.

Он протянул конверт. Она взяла, но не стала тут же, при нем, вскрывать. Это ее, личное, интимное дело, и читать его она будет без свидетелей, одна.

Оставшись наконец одна, она разорвала в нетерпении маленький помятый конверт, на котором его крупным, с пляшущими буквами, почерком было выведено только одно ее

имя: «Галине». В конверте был листок с его новым американским адресом и маленькая приписка: «Если захочешь, напиши. Сергей».

Она заплакала. «Что же это такое! По какому праву он мучает меня? Для чего ему писать? Чтобы по первому его звонку мчаться теперь уже на другой конец земного шара? Так не пустят меня, даже если б и бросилась, и помчалась, и он это прекрасно знает!..» И долго потом она ходила по комнате, а слезы все лились и лились из глаз, и, достав его любительскую фотографию, она еще полночи разговаривала с ним и причитала распухшими от слез губами, обещая ему больше никогда-никогда его не видеть, не слышать, не знать, забыть, забыть! Забыть!..

Летом Галина в первый раз решила съездить отдохнуть в Крым.

Она написала письмо Татьяне (которая к тому времени уже успела выйти замуж, родить сына, развестись, оставить ребенка на молодых еще родителей и укатить на Север в поисках нового счастья) и предложила поехать вместе. Татьяна быстро откликнулась, приехала в Ленинград, и здесь они уже вдвоем сели в плацкартный вагон до Симферополя. По дороге решали, куда дальше: в Ялту, к Чехову, или в Коктебель, к Волошину. Бросили жребий. Выпал Коктебель.

Но в Коктебеле устроиться не удалось. Август, самый сезон, все забито. Им посоветовали поискать жилье в Феодосии (в полчаса езды от Коктебеля), и они сразу нашли комнату в старом районе города, на Карантине, возле древних руин Генуэзской крепости и новых руин разоренных православных храмов.

Семья, их приютившая, была смешанной. Он – неказистый, лет тридцати пяти татарин, она – русская, много старше его, как говорится – со следами былой красоты, и их маленькая дочка, огромными голубыми глазами и льняными кудряшками похожая на мать.

В те годы ни о каких национальных конфликтах и речи быть не могло (хотя все знали, например, что армяне, гру-

зины и азербайджанцы, мягко говоря, недолюбливают друг друга, но это был повод скорее для анекдотов, чем для беспокойства). Все жили смиренно под крепкой властью компартии, объявившей дружбу между народами на вечные времена и каравшей повинных, невзирая на этническую принадлежность. В этой круговой ответственности перед суровым мечом советского правосудия все этносы, населявшие Советский Союз, были равны. А раз равны, то и дружественны.

Татарин был из семьи выселенцев, изгнанных товарищем Сталиным в связи с поголовным почти переметыванием крымских татар на сторону немцев из Крыма в Казахстан. Трудолюбие и нелюбовь к питию выгодно отличала его от местных русских мужчин.

Жена его, как выяснилось, уже была раньше замужем и имела от первого брака двух женатых сыновей и даже внуков.

Намаявшись с пьющим мужем и сойдясь с татаринком, она «на старости лет», в сорок три года, забеременела и хотела сделать аборт, но татарин ей это «русское» безобразие не позволил, и теперь они оба не могли нарадоваться на свое голубоглазое чудо.

Платить за это нежданно-негаданное счастье ей пришлось утратой безрелигиозности. Татарин был, естественно, мусульманин, и хотя в городе на те времена было всего две православные церкви (кладбищенская и главный собор), а мечети ни одной, он все же требовал неукоснительного соблюдения мусульманских обычаев, читал Коран и заставлял жену

с дочкой молиться дома Аллаху.

Эти требования нового мужа были необременительны, и она легко поддалась послушанию; под крепкой рукой мужа она чувствовала себя уверенно и спокойно.

Татьяна, наблюдая это «безобразное рабство», за глаза возмущалась, Галина иронически пожимала плечами. Современной эмансипированной женщине нужно много хлебнуть горя и зла, чтобы понять смысл, прочность и правильность религиозного, основательного брака. Эту чашу девушки еще едва пригубили и судили о жизни с высоты своих двадцати пяти лет строго и безапелляционно.

Прогуливаясь однажды по набережной, они заметили молодого художника, писавшего морской пейзаж.

Любопытствующие девушки остановились поглазеть.

– А что, в этом городе с легкой руки Айвазовского все художники пишут исключительно морские пейзажи? – небрежно бросила Татьяна, как бы и не конкретно обращаясь к молодому человеку, а так, в пространство, вообще.

– Почему... – засмутился художник. – Не только... – И в подтверждение своих слов продемонстрировал девушкам два прелестных этюда – феодосийский дворик и розы в саду.

Галине этюды понравились. Она даже поинтересовалась, нельзя ли у него что-нибудь приобрести на память. Но художник еще больше засмутился и сказал, что он вообще-то всего лишь любитель и ничего не продает, но если ей так понравились его этюды, он с удовольствием подарит ей любой.

Мало-помалу разговорились и познакомились. Художника звали Алексеем, он был местным, и так понравившийся Галине «Феодосийский дворик» был его собственным домом, где он с рождения проживал вместе со своей мамой, бабушкой и младшей сестрой. Самому художнику на вид было лет двадцать; Галина и Татьяна разговаривали с ним, снисходя к его возрасту, как многоопытные матроны.

Беседа закончилась приглашением девушек в гости. Но в назначенный день Татьяна не смогла (у нее уже намечался ожидаемый курортный роман), и оставшаяся не у дел Галина пошла одна. Она быстро нашла по адресу указанный домик за высоким каменным белым забором и позвонила в дверь.

Ей открыл Алексей.

– Здравствуйте, Галя. – На нем были джинсы и белая рубашка, которая очень шла к его загорелому лицу, светлым волосам и серо-голубым глазам.

«Какой милый», – подумала Галина и сказала:

– Здравствуйте, Алеша. Я одна, Татьяна просила ее извинить.

Он был великодушен и охотно ее извинил.

Она вошла во двор и сразу же очутилась в дивном, райском уголке: дворик был усажен розами и какими-то еще, неизвестными ей, яркими, южными цветами. Все это радостно цвело и благоухало, создавая праздничное пиршество для глаз и души. Разросшийся беседкой виноградник со свисавшими черными и желто-зелеными гроздьями давал тень

и прохладу. Два маленьких белых домика, один побольше, другой совсем крошечный, в полторы комнатки, стояли перпендикулярно друг другу, образуя естественный забор с соседним участком. В цветнике стояли какие-то фантастические фигурки птиц и зверей: Алексей резал по дереву.

– Как здесь у вас красиво! – не удержалась она.

– Да, – сказал он. – Я очень люблю наш дом. И наш город. И наше море. – Потом добавил: – Мама на работе, пойдемте, я познакомлю вас с бабушкой и сестрой.

Они вошли в дом, что побольше. К их приходу готовились. На столе стояли вино, фрукты, домашние пироги, накрытые чистым полотенцем.

– Это Вера напекла, моя сестра, – сказал Алексей.

Светленькая, голубоглазая девочка лет двенадцати, похожая на брата, метнула на Галию быстрый, смущенный взгляд и сразу исчезла.

В комнату вошла сухонькая старушка, вся чистенькая, уютная, бело-седая, с таким радостно-светлым взором ярко-голубых глаз, что Галина невольно ахнула. Если в таком возрасте бабушка сохранила это небесное голубое сияние, то какой же она была в молодости? И словно ответом на ее немой вопрос, перед ее глазами вырос большой портрет, висевший на стене, написанный маслом уверенной, мастерской рукой художника.

– Это... кто? Вы?.. – изумилась Галина.

Старушка молча улыбалась.

– Бабушкин первый муж был художник, – пояснил Алексей. – Здесь нашей бабуле двадцать один год.

– Двадцать два, – поправила бабушка с лукавой улыбкой. – Знаете, – обратилась она доверительно к Галине, – никогда не преуменьшала свой возраст. А вы, деточка...

– Мне скоро двадцать пять, – почему-то произнесла Галина и покраснела.

Алексей тоже почему-то покраснел.

Бабушка продолжала безмятежно улыбаться.

– Познакомь же нас, Алешенька.

– Знакомьтесь. Это Галина из Ленинграда. Филолог, – прибавил он.

– Ну а меня зовут Тамара Константиновна. Мы приехали с мужем из Петербурга сюда в девятнадцатом. Там уже был страшный голод. Но то, что мы пережили здесь, в Крыму, после прихода большевиков, не поддается описанию. Людей ели.

– Как же вы выжили? – медленно спросила Галина. Хотя хотела спросить другое: «Как же вы сумели сохранить свою безмятежно-радостную синеву?»

– Бог помог, деточка, – просто сказала Тамара Константиновна. – От голода спаслись, а от расстрела не уберег Господь. Мужа моего расстреляли в двадцатом как заложника. Они это тогда практиковали. Чуть что, брали всех подряд, кто им под руку попадался. Может, слышали про такого, Бела Куна? Полютовал он в Крыму...

– У нас улица такая есть в Ленинграде. Бела Куна, – сказала Галина. – Я думала, он в Венгрии жил...

– Может, он в Венгрии и жил, да палачествовал-то в России. Ой! – спохватилась бабушка. – Что же это я гостью так встречаю! Верочка! – кликнула она внучку. – Давай собирать на стол. А вы садитесь, милая барышня, – обратилась она к Галине, – отдыхайте.

За обедом пили домашнее, бабушкино вино, кушали бабушкин борщ, фаршированные перцы, какие-то немислимо вкусные овощные закрутки и салаты, которые бабушка без конца подкладывала Галине (сама она ела мало), и Галина, которая никогда так не питалась, скоро почувствовала себя удавом, проглотившим кролика.

Между тем бабушка рассказывала интересные вещи. Подумать только, она была близко знакома с Ниной Николаевной Грин и с Марией Степановной Волошиной – легендарными женами знаменитых мужей. Писатели, не очень жаловавшие друг друга, умерли в один год. А их женам досталась трудная судьба – сохранить для потомков наследие своих мужей, что в годы советской власти было равносильно подвигу.

– Дом держался, конечно, исключительно на Марии Степановне, – рассказывала бабушка. – Особенно после смерти его матери. Они называли ее Пра... Тоже, знаете ли, большая оригиналка была. Вызывает как-то сына к себе, а ему только что исполнилось восемнадцать лет, и говорит: «Вот, Макс, тебе уже восемнадцать, можешь жениться. Я, конечно,

этого не хочу, но ты можешь. Так что изволь с сегодняшнего дня сам пришивать себе пуговицы!» И что вы думаете? С тех пор стал пришивать, Мария Степановна говорила, отлично пришивал, лучше нее! – Бабушка тихонько залилась серебристым смехом. – А вообще-то он был как ребенок. Он бы и не выжил без Марии Степановны. Она ему фактически заменила мать. Когда та умирала, то благодарила Марию Степановну со слезами: «Спасибо за то, что ты так любишь моего Макса». Она не то что любила его, боготворила! Да скажи ей Масенька, как она его называла: «Маруся, умри!» – она ни секунды не сомневалась бы. А ведь ее многие не любили. Из гостей. Особенно дамы. Злые языки говорили: «Был бы в Коктебеле рай, если б не было Марии Степановны».

– Почему? – спросила Галина.

– Ну, дамы, вероятно, потому, что Максимилиан Александрович всем им предпочел Марию Степановну. Вы же знаете, все поэтессы, например, терпеть не могут Наталью Николаевну, уж, казалось бы, двести лет прошло, можно бы, кажется, и смириться... так нет. Тоже ревность своего рода... А у Марии Степановны язычок был острый, всем всегда правду в лицо лепила. Характер дерзкий, мальчишеский, темперамент пламенный, в огне горела, в воде тонула, от всех тифов умирала... Из семьи раскольников. Это все скрывается, конечно... Да ведь и какие дамы приезжали! Снобки. Вот вам маленькая сценка. Семнадцатилетняя Марина Ивановна с некоторым ужасом: «Вы любите Чехова?! – И

этак презрительно махнув ручкой: – Фи!» А Мария Степановна: «Я не хочу с вами разговаривать!» – И хлопает изо всех сил дверь. Кому ж понравится?.. А Анна Андреевна, никогда не приезжавшая в Коктебель, называла Марию Степановну не иначе как «эта акушерка». Очень уж Анна Андреевна была строга к женам поэтов, – безмятежно улыбалась бабушка. – А Максимилиан Александрович говорил жене: «Ты моя радость. Мне никого, кроме тебя, не нужно, любовниц у меня могло быть сколько угодно».

– А Грины?.. – спросила Галина.

– А Грины... Они приехали в Феодосию в двадцать третьем, голод и террор уже почти прекратился, в прежних, разумеется, масштабах. Поселились недалеко от нас, на Галерейной. Нина Николаевна была очень хорошенькой и намного его моложе, Александр Степанович ее обожал. Они всегда появлялись вместе: он – длинный, худой, в глубоких морщинах, почти старик, какой-то мрачный, она рядом с ним – розовенькая и веселенькая, как птичка... И, знаете, он ведь выпивал. Очень. Бедная!.. Но она все принимала, никогда никаких сцен, упреков, она была настоящая жена художника, друг... Они ни с кем не дружили. Кажется, они были всем друг для друга и жили в каком-то своем, особом мире, никто им был не нужен. Ее мать жила с ними, очень общительная, интеллигентная женщина и превосходно готовила. Очень тактичная, умница. Жили они страшно бедно, в конце двадцатых его совсем перестали печатать, он заболел. Она

перевезла его в Старый Крым, где он через полгода, кажется, и умер от рака. Хотя лечили его от туберкулеза...

– И как же она потом?

– Потом она сошлась с доктором, который лечил Александра Степановича, они жили в гражданском браке. Но они были совсем разные... перед войной доктор их бросил, они с матерью остались без средств. Мать заболела душевной болезнью. А тут война, оккупация... Нина Николаевна хорошо знала немецкий, ей предложили работу редактора, немцы пытались издавать какой-то свой бюллетень. Что ей оставалось делать? Надо было как-то выживать, лечить и кормить мать... После войны советская власть сочла это преступлением, Нина Николаевна отсидела десять лет и после освобождения снова стала хлопотать о домике-музее Грина. В конце концов ей это удалось.

– Она еще жива? – спросила Галина.

– Нет, деточка. Не так давно умерла. А Мария Степановна все еще воюет.

У Галины округлились глаза.

– И с ней можно познакомиться?

– Вот уж не знаю, как вам повезет. Народ ведь валом теперь валит. А Марии Степановне уже за восемьдесят. Возраст, знаете ли... Поди, детка, – обратилась она к Вере, – поставь разогревать обед, мама уже должна прийти.

Верочка повиновалась.

Вскоре появилась и мама Алексея, еще молодая, хрупкая,

такая же светленькая и милая, как и ее дети, с добрыми усталыми глазами и детской трогательной улыбкой.

Алексей представил гостью.

Мама, поздоровавшись, с дружелюбным любопытством посмотрела на Галину и села за стол.

– Меня зовут Софья Дмитриевна, – сказала она.

– Красивое имя, – сказала Галина.

Верочка подала матери обед.

– Отец Сонечки, Дмитрий Леонардович Устрялов, до революции служил на Черноморском флоте под командованием Колчака, а впоследствии, когда Колчак сделался Верховным правителем России...

– Мама... – выразительно посмотрев на мать, прервала ее Софья Дмитриевна.

– Ну что ж теперь... – виновато улыбнулась Тамара Константиновна. – Из песни слова не выкинешь...

– А где же вы с ним познакомились? – спросила Галина, не замечая предупредительного намека Софьи Дмитриевны на излишнюю с посторонним человеком откровенность бабушки.

– Что, деточка?... Да здесь же, в Крыму... – И она невинно взглянула на дочь, словно говоря: «Ну и что же ты всегда так беспокоишься? И ничего такого особенного я не сказала. А если что и сказала, так эта славная девочка совсем не похожа на стукачку, и не надо нагонять страх». – Кого только сюда не заносило, Галиночка... – снова безмятежно улыбну-

лась бабушка. – Перед концом всего... Да... И на обломках самовластья мы попытались наладить новую жизнь. И даже родили Сонечку... Но, увы, налаживанию эта жизнь никак не поддавалась...

Почувствовав неуместность своего любопытства, Галина перестала спрашивать, но бабушка все же завершила свой рассказ:

– Меня не тронули, оттого что мы не захотели зарегистрировать наш брак, вернее, опасались... И совершенно, как выяснилось, справедливо. Больше я уже не пыталась устраивать свою жизнь... Моей жизнью стала Сонечка. А потом вот они. – И бабушка с умилением посмотрела на внуков.

Софья Дмитриевна была не так разговорчива, как бабушка. Она молча ела разогретый Верочкой обед, ласково поглядывая на всех сидящих за столом, и глаза ее светились тихой и грустной нежностью, словно говорили: «Я вас всех очень люблю, и тебя, милая, незнакомая девочка, я тоже готова любить, потому что как же иначе жить?»

Потом все вместе пили чай. Бабушка завела древний патефон, и они слушали удивительные голоса старых исполнителей, столь непохожие на современных эстрадных артистов, как непохожа была вся их жизнь на нашу.

Галине хотелось плакать. Впервые в жизни ей было хорошо в семье, в этом теплом, милом, уютном доме, и она невольно вспоминала своих мать и бабу и не могла понять: отчего же они без конца ссорились и ругались, что делили?

Что это, дурной характер или тяжелая жизнь доводили их до такой взаимной крайности? Но ведь жизнь Тамары Константиновны тоже, по всему, была не из легких...

Они вышли во двор. Южный вечер, похожий на ночь, обдал их теплым и таким сладким воздухом, что захотелось побольше набрать его в грудь. Без устали ритмично кричали цикады. Огромные лампы звезд висели совсем низко.

– Посидим? – спросила Галина, кивнув на скамейку.

– Посидим, – эхом отозвался Алексей.

– Господи, как хорошо! – невольно воскликнула она, прислушиваясь к шуму прибоя, доносившемуся с близкой набережной. – Ты, наверное, уже привык к этой красоте...

– Нет... то есть привыкнуть к этому нельзя... Я ее всегда чувствую...

Они сидели по разные стороны на деревянной резной скамейке и молча смотрели в небо, думая каждый о своем.

– Твоя работа? – спросила Галина, имея в виду резьбу по дереву.

Алексей кивнул.

– А где твой отец? – снова спросила его Галина.

– Он был летчик, разбился на самолете.

– Ты его помнишь?

– Нет...

– Но ведь тебе уже было, наверное, лет восемь... Твоей сестре ведь двенадцать?

– У нее другой отец... Он... с нами не живет.

Помолчали.

– Вот в этом домике моя мастерская. Хотите посмотреть?

– Хочу, – сказала Галина. – Только перестань, пожалуйста, говорить мне «вы», хорошо?

Алексей ничего не ответил. Он открыл дверь своего крошечного домика и включил свет.

Самый родной и волнующий из всех запахов на свете – запах красок – обрушился на нее, сбивая с ног памятью мелькнувшего и утраченного навсегда счастья. Все здесь напоминало ей прежнее, любимое, без чего жизнь утратила для нее всю свою силу и радость.

Она ходила от картины к картине молча, не вглядываясь и не оценивая изображаемое, только жадно вдыхая запах красок и стараясь унять дрожь, которая вдруг откуда-то изнутри стала выстукивать мелкой дробью от сердца до кончиков пальцев, заливая румянцем лицо. Она боялась произнести слово, чтобы в звуках ее голоса он не услышал постукивания ее зубов. Эта внутренняя ее дрожь передалась и ему. В маленьком пространстве комнаты они то и дело сталкивались, задевая друг друга то плечом, то рукой, пока взаимная лихорадка не сблизила и не соединила их губы.

«Господи, что же я делаю? – пронеслось у нее в голове. – Ведь это ребенок! И какая чудесная бабушка... и мама... Надо бежать!...»

Но уже было поздно рассуждать, оценивать и тем более бежать.

Вихрь его первого юношеского любовного жара и ее ностальгически чувственная жадность закружили им головы, и, как затаившийся в темноте разбойник, внезапно набросилась на них страсть и мгновенно смяла обоих.

Галина вернулась домой за полночь.

– Я уж думала, ты останешься у него ночевать! – язвительно набросилась на нее Татьяна.

Галина улыбалась не отвечая.

– У нас роман с юным греком?

– Почему греком? – рассмеялась Галина.

– Ну, феоdosийцем, кафцем, неважно. Два художника для одной биографии, по-моему, это слишком, – резюмировала она. – Чай будешь?

– Спасибо, нет.

– Ну хоть расскажи, чем тебя угощали?

Галина, не раздеваясь, легла на кровать.

– Домашним вином. Домашними пирогами. Домашними фаршированными перцами, – с удовольствием перечисляла она.

– С ума сойти! С тобой, что ли, сходить? Или теперь меня уже не приглашают?

– Теперь уже нет.

– Третий лишний?

– Вот-вот.

– Ты что, серьезно с этим мальчиком?

– Почему бы и нет? Он очень милый...

– Ну смотри, не влюбись.

Галина, улыбаясь, пожала плечами.

– Ой, слушай! – перевела разговор Татьяна. – У меня тут такой джигит! – Она зажмурилась. – Умопомрачительный! Хочешь, расскажу? – И она стала красочно описывать свидание с джигитом.

Галина ее не слушала. Она думала о том, что завтра снова встретится со своим милым Алешей, который, кажется, совсем от нее без ума.

На следующий день он пришел с тремя белыми розами из их сада. И все оставшиеся дни ее отпуска они расставались лишь на несколько коротких ночных часов. Хотя мама и бабушка, конечно, о многом догадывались, но ей хотелось выдержать тон и соблюсти приличия, не демонстрируя открыто связь с Алексеем, которая в этом случае (кто знает?) могла быть воспринята с неудовольствием его родными.

Обычно они встречались утром на Карантине и отправлялись в пешее путешествие по феодосийским окрестностям. Они шли на запад, загород, к мысу Святого Ильи, к одиноко белевшему маяку и там часами сидели на бурых холмах, покрытых желтой иссохшей травой, фиолетовой лавандой и разлапистыми колючками с голубыми, похожими на васильки цветками.

Оба любили смотреть на море и подолгу молчать.

Иногда он вел ее через перевал невысоких гор, окружавших старинный, когда-то греческий, город (Феодосия – дар

Богов) в Двужорную бухту. Поднявшись вверх через полосы насаженного низкорослого соснового леса, пройдя сквозь заросли терновника и кизила, напившись студеной ключевой воды, они спускались на дикий каменистый пляж, где было очень трудно заходить в воду, зато там они были совершенно одни. За целый день если кто и попадался, то один-два человека.

А от Двужорной бухты рукой подать до маленького военного (закрытого для обывателей) поселения Орджоникидзе, откуда открывался великолепный вид на могучий, коварный и величественный Карадаг – старый потухший вулкан.

Они гуляли по круглым разноуровневым холмам и оврагам, пересекаемым полосами низкорослых насаждений или голых троп, и открывавшийся с высоты перевала вид казался им марсианским.

Марсианские пейзажи она видела у Волошина, замороженного странной, диковатой красотой Восточного Крыма. Эти же пейзажи, еще более дикие и фантастические, рисовал и Алексей.

В Коктебель они ездили на автобусе. Впервые она увидела дом поэта еще не утонувшим, как впоследствии, в разросшихся вокруг него бездарных строениях новых санаториев и частных домов. Еще можно было бродить по не перегороженному берегу и представлять, как жили, чувствовали и что видели вокруг себя его прежние обитатели. (Марию Степановну им не удалось застать, она уехала на лечение в

Киев.) Зато подымались на пологую гору к могиле Волошина, и еще Алексей показывал ей поразительной схожести каменный профиль поэта на последнем у моря утесе старого Карадага.

Татьяна, очень скоро разочаровавшаяся в джигите, деликатно не просилась в попутчицы и целыми днями в расслабленности валялась на пляже, время от времени лениво отмахиваясь от очередных нагловатых кавказцев и не менее назойливых русских.

Незадолго до ее отъезда они отправились на несколько дней с палаткой в горы. В те годы вездесущие толпы туристов еще свободно истаптывали древние каменные бока Карадага вдоль и поперек. Плескались в Голубой, Изумрудной и Лягушачьей бухтах, взбирались на Чертов палец, искали знаменитые коктебельские полудрагоценные камешки. Старый великан терпеливо сносил молодые игрища, но шутить не любил, и не раз зазевавшихся, незадачливых туристов ждал печальный конец; не все возвращались с Карадага.

Алексей знал Карадаг. Они поставили палатку у источника в Лягушачьей бухте и провели эти последние дни их совместной жизни, как влюбленные на необитаемом острове, — в раю.

Но этот неожиданный для Галины райский роман уже начинал ее тяготить. Конечно, он не мог ей не нравиться, но, Боже мой, каким он еще был младенцем по сравнению с ней, с ее горьким опытом взрослой женщины! Невольно она чув-

ствовала себя старшей сестрой и даже матерью этого хорошего мальчика и, понимая всю бесперспективность их отношений, с облегчением думала о предстоящем отъезде. Но понимала она и другое: расставание с ней принесет ему страдание и боль, он уже привязался к ней с той доверчивой, искренней полнотой чувств, которая возникает с первой близостью у очень молодых и чистых людей.

В последний вечер, провожая ее до татарского домика, он подарил ей кольцо с большим коктебельским серо-голубым агатом.

– Вчера я сказал маме и бабушке, что мы поженимся, – произнес он.

– Ты с ума сошел! – невольно воскликнула Галина, но, увидев его растерянно-беспомощное лицо, улыбнулась: – Ты бы сначала у меня спросил, миленький...

– Я думал... – начал Алеша. – Я думал, раз ты со мной... раз мы...

– Алеша, – мягко сказала Галина и взяла его за руку. – Ты очень, очень хороший... и ты мне очень нравишься, но... как ты себе это представляешь?

– Мы поженимся, ты переведешься на заочное, и мы будем здесь жить все вместе. Ты же сама говорила, что хотела бы здесь жить...

– Нет, – покачала головой Галина, – это невозможно.

– Почему?

– Невозможно, – повторила Галина. – Давай больше не

будем об этом.

– У тебя... кто-то есть? – спросил он ее после паузы, мучительно краснея.

– Нет, – сказала Галина. – Дело не в этом... Нет, милый, у меня никого нет, но... И потом, ну, подумай, я старше тебя на целых пять лет!

– На три, – сказал Алеша. – Разве это имеет значение?

– По-моему, да. Огромное. Ты еще не понимаешь...

– Значит, ты уедешь сейчас, и всё?.. А как же я? – спросил он тихо.

– Я приеду, – солгала она. – На следующий год. И буду приезжать, пока тебе не надоем и ты меня не бросишь, – закончила она с бодрой улыбкой.

Вид у него был убитый.

– Алеша, – тихо сказала Галина. – Ну хочешь, я останусь сегодня у тебя? Хочешь?..

На следующий день он провожал ее на поезд.

– Везет же вам, девушка, – сказала Татьяна, весело поглядывая на Алексея, несшего их сумки. – Хоть бы в меня какой-нибудь морячок влюбился, а то... – Она не договорила. – Эхма, жизнь малиновая, как говаривала одна симпатичная дамочка!

Они уже стояли на перроне. Вокруг сновали громкоголосые, перегруженные вещами и ящиками-корзинами с фруктами отъезжающие. Народ орал и толкался, кто-то под гитару пел, кто-то кого-то искал, кто-то плакал. Татьяна вежливо

отошла в сторонку.

– Можно, я к тебе приеду в Ленинград? – спросил он, заранее зная ее ответ.

– Нет, нет, что ты? Зачем? – испуганно проговорила Галина. И добавила: – Я же в общежитии живу, там и ночевать негде... Ты уж немного потерпи, – сказала она, страдальчески морща лоб, вспоминая, как сама пыталась терпеть и что из этого вышло.

Поезд тронулся.

Алексей не шел за поездом, не улыбался и не махал руками изо всех сил, как остальные провожающие. Он стоял на перроне, не двигаясь и не глядя в сторону удаляющегося вагона, в котором уезжала от него Галина. Навсегда.

Жизнь ее вошла в привычную колею. Лекции, библиотека, занятия. Все было хорошо, она почти не вспоминала Алексея. Прошел месяц, ей вдруг показалось, что она беременна. Она сходила в женскую консультацию, ее подозрения подтвердились. Врачи ли ошиблись, чудо ли произошло, но Галина действительно оказалась на втором месяце. Ее спросили, будет ли она оставлять ребенка, и ошеломленная Галина ответила: конечно, да.

Она ответила так, не подумав, по первому движению сердца, но, и подумав, она еще больше утвердилась в своем желании иметь дитя. Больше она не хотела рисковать. Кто знает, сможет ли она забеременеть еще? Да и разве это имеет значение, кто отец? Есть он или нет? Это будет ее ребенок, только ее! Родное существо, которое разобьет ее одиночество.

Жизнь ее переменялась. Она еще больше замкнулась в себе, словно отгородилась невидимой стеной от окружающих, и целиком сосредоточилась на новой, растущей в ней жизни. Об ее тайне никто не знал.

В мечтаниях о сыне (не допускала и мысли, что это может быть девочка) она невольно соединила свою прошлую беременность с настоящей и, радостно вынашивая дитя, как бы исправляла свою прежнюю, казалось непоправимую, ошибку. Тот загубленный ею, нерожденный мальчик должен был

воплотиться теперь в этом новом, мечтательно взлелеянном ею ребенке, и отцом этого ребенка мог быть только один человек на свете – Сергей.

Так она хотела, так она чувствовала, так, наконец, уверовала.

Алексей здесь был ни при чем.

Она уже почти забыла о нем, как вдруг пришло письмо из Феодосии.

«Милая Галина, – писала бабушка, – не удивляйтесь моему письму. Я бы не посмела Вас беспокоить, если бы не бедственное состояние моего внука, которое приводит нас в несвойственное нам отчаяние.

Увы, после Вашего отъезда Алексей заболел. Насколько я понимаю, это болезнь душевная (не стану описывать Вам ее проявления, они ужасны), и связана она с любовью к Вам.

Милая девочка, я не знаю, что у вас произошло (Алексей молчит как рыба), ведь он сказал нам, что вы решили пожениться, и, поверьте, с нашей стороны это не вызвало никаких возражений. Напротив. Несмотря на молодость Алексея и, мягко говоря, неопределенность его положения во всех смыслах, мы были бы рады принять Вас в нашу семью как дочь.

Я прожила долгую жизнь и знаю, детка, как опасно становиться поперек большой любви. А то, что Алеша любит Вас безгранично, у меня нет никаких сомнений. Скажу Вам по секрету: он никогда и ни в кого еще не влюблялся (уж у нас

с ним нет никаких тайн) и вы первая девушка, которую он пригласил в наш дом.

Умоляю Вас, если Вы любите нашего Алешу, приезжайте. Вы видели, мы живем скромно, но это ведь не препятствие, не правда ли? Бог поможет, и все устроится наилучшим образом. Только бы были между вами любовь и согласие. А мы все, Софья Дмитриевна, Верочка и я, любим Вас и скучаем.

Крепко обнимаю Вас, деточка, и надеюсь – до скорой встречи.

Ваша бабушка Тамара Константиновна».

Это бесхитростное, прямое, дружеское письмо, продиктованное любовью, обожгло Галину. Она ни минуты не сомневалась в своем решении расстаться с Алексеем и все же соблазнительно погружалась в мечтания о возможности тихой, простой жизни в райском домике у самого синего моря среди роскошных роз, красивых картин и милых ее сердцу людей. Она представила себе восторг всей семьи при известии об ее будущем ребенке и не удержалась от радостной улыбки. Да, наверное, она могла бы быть счастлива... Но счастья не выходило (не ложились карты), она не знала, почему... «муж мальчик, муж слуга, из жениных пажей» – кто-то умело подсовывал ей цитату, да, но и не только.

Разве могла она теперь покинуть Ленинград, этот ставший для нее бесценным, самый изящный, стройный и гармоничный город на свете с его молочными, белыми ночами, золотыми шпилями и безукоризненно стройными проспектами?

Что ж из того, что он разрушался? Он и в умирании своем сохранял свое имперское достоинство, величие и красоту. А разве могла она обойтись без громады публичных библиотек, без любимых профессоров, без театра?.. Нет, райский уголок не получался. Он наскучил бы ей через несколько недель. Она уже вкусила сладкий плод от дерева познания, и теперь ее путь был только один – вперед!

«Дорогая, уважаемая Тамара Константиновна, – писала Галина. – Ваше письмо заставило меня снова пережить мечты о близком, но невозможном для меня счастье. Встретившись с вами, я впервые почувствовала, что такое настоящая семья, где любить и заботиться друг о друге так же просто и естественно, как дышать. Я плакала от умиления, что такие отношения еще возможны, и конечно же мечтала бы о таком чуде и для себя.

Дорогая Тамара Константиновна, Вашего Алешу нельзя не любить, но, я думаю, Вы поймете меня, моя любовь к нему больше сестринская, как к младшему брату, или даже материнская... согласитесь, что это совсем не то чувство, которое должно быть между мужем и женой. Ведь я старше Алешки и, что тут таить, опытнее. Я уже многое пережила, многое испытала, и мне совестно портить жизнь такому чистому и хорошему мальчику (а он для меня мальчик).

Кроме того, моя научная работа связана с жизнью в большом городе – в Ленинграде. Вряд ли я смогу от нее отказаться. Я уже отравлена (называйте это как хотите: эмансипаци-

ей, свободой, творчеством) и никогда уже не смогу жить патриархальной жизнью, исполняя роль только жены и матери, как бы ни требовала и ни стремилась к этому моя душа.

Алеша еще так молод, он скоро забудет меня, Вы знаете, время лечит, и еще встретит свою настоящую любовь, чего я ему от души желаю.

Умоляю, не сердитесь и не держите на меня зла.

Я вас всех очень люблю и очень вам благодарна. И никогда вас не забуду.

Ваша Галина».

Отправив это письмо, Галина поставила жирную точку на всей этой романтической истории и начала жить заново.

Получила она письмо и от своей подруги. Татьяна писала, что после кратковременного романа с джигитом у нее образовалась внематочная беременность и теперь она готовилась к операции. «Слава Богу, что хоть успела родить, – подумала Галина и потрогала свой живот: – Ты как там, малыш? Все в порядке?» Малыш молчал, он был еще слишком мал, чтобы общаться с мамой.

В положенный срок Галина родила здорового мальчика (три сто) без осложнений.

Положение матери-одиночки ее не смущало, и отсутствие встречающего папаши с букетом цветов она перенесла спокойно.

Ее встречала все та же Татьяна, примчавшаяся по такому случаю из Мурманска, где преподавала в местном пединсти-

туте русскую, а заодно и зарубежную (по недостатку кадров) литературу. В подарок она привезла новенькую коляску, а также кучу всякого детского барахла, которое не успел сносить ее собственный сын.

Нашлись и другие добросердечные барышни из общезнания, приготовившие для Галины с малышом все необходимые вещи на первый случай.

Галина была тронута, всех благодарила, но быстро выпроводила из комнаты и рассматривать младенца особо никому не позволила. Другое дело – Татьяна, та – своя да и сама – мамаша (хоть и кукушка, ее сын все еще находился у родителей), могла посоветовать, если что. Татьяна советовать любила. Она нашла, что младенец отличный и вылитый Алексей, а Галина – дура в том смысле, что отшила бабушку.

– С ним как хочешь, а ребенка могла бы каждый год отправлять в Крым! – такое было ее резюме.

Галина не спорила, дело сделано, чего уж, поздно.

Через пару дней Татьяна улетела просвещать поморских студенток, и Галина осталась совсем одна со своим новорожденным сокровищем.

По всему ее чувствуванию выходило, что у ребенка два отца. Один – настоящий, реальный, другой – надуманный, фантастический, и оба – виртуальные. Она назвала мальчика Алексеем и в память о реальном отце, и потому, что ей просто нравилось это имя, а отчество записала «Сергеевич», потому как считала, что по справедливости (и судьбе) это

должен был быть его ребенок.

Мальчик рос беспокойным, Галина почти не спала. Днем – кормления, магазин, поликлиника, пеленки. Уставала страшно. Матери не сразу написала о рождении сына. Но, получив от нее ответ с робкой просьбой: «Приезжайте с внучком, а то я к вам приеду, подмогну», – сухо ответила: «Сама справлюсь». Это «подмогну» испортило все дело. Видеть рядом с собой грубую («неинтеллигентную»), безграмотную мать, от которой давно отвыкла, – это уж слишком!

Боясь отупеть в этих бесконечных, изматывающих хлопотах по поддержанию физической жизни (на другое не оставалось ни времени, ни сил), она попробовала отдать Алексея в ясли. Но через два дня он заболел воспалением легких, и на смерть перепуганная Галина легла с ним в больницу. Больше таких экспериментов она не делала и после выздоровления сына взяла академический отпуск.

Из-за пережитых волнений у Галины пропало молоко. Ослабленный Алеша питался кефиром и детскими смесями. Здоровья они не прибавляли, усталость накапливалась, бывали и срывы, когда от переутомления нервы ее не выдерживали и она бессмысленно кричала на орущего младенца и малодушно жалела, что вообще произвела его на свет, в чем потом конечно же не раз каялась.

Ах, знала бы бабушка Тамара Константиновна о бедственной жизни своего правнука и несостоявшейся невестки – примчалась бы сама в этот холодный северный город и увез-

ла бы их обоих в тепло, к солнышку, к морю, в благословенную крымскую благодать, на радость и счастье всей семье и прежде всего Алеше! Но она ничего не знала. Да и кто бы мог ей сказать? Татьяна? У нее не было таких полномочий. Каждый мучился в одиночку.

Самый тяжелый год, как казалось Галине, прошел. Уже резались вовсю зубки, уже крепко стоял и пробовал ходить на своих ножках ее мальчик и во весь рот улыбался, когда Галина заходила в комнату, и лепетал: «Ма-ма», отчего у Галины сразу начинало что-то сладко таять внутри. Но и второй год не стал легче. Ей все-таки пришлось отдать сына в ясли – не было выхода. Днем она сидела в библиотеке, но мысли ее были далеко, с Алешей, он по-прежнему часто болел. Стипендии не хватало. По ночам она мыла коридоры и лестницу в общежитии. Дорого ей давалось ее «я сама», но приходилось терпеть.

Галине было двадцать восемь лет, Алеше – два, когда она познакомилась с Юрой.

Она готовилась к сдаче кандидатского минимума по марксистско-ленинской философии. Этот ненужный никому, кроме партработников, предмет почему-то сдавали все студенты и аспиранты. Обложившись учебниками по марксизму-ленинизму, она сидела за столом в библиотеке и конспектировала не вмещающиеся в голове талмуды. На соседа, искоса на нее поглядывавшего, не обращала никакого внимания, торопилась до пяти вечера по диагонали перечитать кучу этой занудной макулатуры.

Взглянув на часы, она стала складывать книжки, вслед за ней деловито засобирался и сосед.

В гардеробе он ловко перехватил и галантно подал ей пальто и, помогая ей одеться, представился:

– Меня зовут Юра. А вас?

– Галина, – ответила она сухо, не глядя на него и не желая продолжать разговор.

– Вы позволите вас проводить?

Галина внимательно посмотрела в его серые улыбочивые глаза. Лицо было простодушное, доброе и, пожалуй, симпатичное, несмотря на чуть вздернутый нос и растрепанную шевелюру.

– Я должна зайти в ясли за сыном, а потом домой, в общежитие, – сказала она четко, чтобы у человека не было никаких иллюзий.

Похоже, это его не смутило. Он только уточнил на всякий случай:

– А муж?..

– Я не замужем, – перебила его Галина. – Мы расстались. Вот теперь все было ясно. Юра повеселел.

– В таком случае вы позволите вместе с вами зайти за вашим сыном в ясли и проводить вас обоих домой в общежитие? – спросил он, нарочито подчеркивая, что усвоил все обстоятельства ее жизни и со всеми согласен.

– Нет, – сказала она. – Не нужно.

– Но... – начал он.

Но Галина уже оделась.

– Всего доброго, – сказала она и пошла к выходу.

– Подождите! – Он ринулся вслед за ней, застегивая на ходу куртку. – Подождите, – догнал он ее у выхода, открывая перед ней дверь. – Вы завтра придете?

– Не знаю, – сказала она. – Если ничего не случится. До свиданья.

– Я буду вас ждать! – крикнул вдогонку ей Юра, но она уже ушла не оборачиваясь.

На следующий день Юра с утра дежурил в библиотеке. Она не приходила. И на третий день тоже. Юра заволновался. Вдруг его осенило. Он вернулся в библиотечный зал, где

выдавали учебники по марксизму-ленинизму и где они сидели рядом два дня назад, и подошел к дежурной библиотекарше.

– Мне нужно найти одного человека... он, то есть она, девушка, брала у вас позавчера книги по диамату... Вы не посмотрите ее карточку?

– Чью? – спросила молодая очкастая библиотекарша.

– Девушки, – покорно произнес Юра.

– Фамилия? – Очки смотрели строго и, казалось, недоброжелательно.

– Галина! – выпалил Юра и осекся.

– А фамилия? – еще раз ядовито спросила очкастая.

Он повернулся и вышел из зала, называя себя идиотом за то, что не спросил у нее фамилии и теперь все пропало.

На четвертый день она появилась. Осунувшаяся, бледная, с синими кругами под глазами.

– Вы заболели? – бросился к ней Юра у самых дверей, внизу, при входе.

– Нет, – ответила она. – Сын.

– Слава Богу! – облегченно вздохнул Юра. И на недоуменно вскинутые брови поспешно объяснил: – Да нет, что вы, я не в том смысле, что сын, я... просто испугался... что больше вас не увижу, вот. Понимаете?

Галина поняла.

– А сколько ему лет? – спросил Юра.

– Третий год.

– Уже большой!

– Да, уже большой, – устало подтвердила она.

– А как его зовут? – интересовался Юра.

– Алеша.

– Прекрасное имя. Алексей. – И про себя почему-то добавил: «Юрьевич». – Это, наверное, в честь отца? – догадался он.

– Н-нет... – медленно произнесла Галина. – Хотя... – Она пожала плечами, но не стала уточнять, а он спрашивать.

– Знаете что, – вдруг предложил он, – давайте я вас увезу к себе, напою чаем с медом, укутаю и уложу в постель, и вы немного поспите, а?

Галина вдруг беспомощно на него посмотрела, и теплая волна благодарности залила ей грудь. Да, пожалуй, это было бы лучше всего, это как раз то, чего ей так не хватало. Выспаться. Отдохнуть.

Но она упрямо тряхнула головой, словно сбрасывая навязание.

– Нет, – сказала она, отводя этот соблазн, – у меня скоро экзамен, не могу.

– У меня тоже, – сказал Юра улыбаясь.

– Вы учитесь в аспирантуре?

– Ага, – почему-то радостно улыбался Юра. – Я физик.

«Это хорошо», – подумала Галина и впервые тоже улыбнулась.

– А я лирик.

– Вот и отлично. Физики и лирики! Главные люди на планете! А вы любите театр?

– Это звучит почти как у Белинского, – усмехнулась Галина. – Конечно, люблю.

– Тогда я вас приглашаю в БДТ! – торжественно произнес он.

– В БДТ достать билет невозможно, юноша, – сказала она строго.

– А у меня связи! – весело воскликнул Юра. – Хотите в воскресенье на «Историю лошади»?

Это был знаменитый спектакль Товстоногова по толстовскому «Холстомеру» с великим Лебедевым в главной роли. Глаза ее загорелись.

– Конечно, хочу. Если Алеша будет здоров и если мне удастся кого-нибудь уговорить с ним посидеть, – прибавила она.

– Отлично! – снова воскликнул Юра. Похоже, это было его любимое словечко. – Значит, в воскресенье, без четверти семь, запомните?

– Ну, конечно.

– Подождите, еще минутку... Вы сейчас куда, опять к классикам марксизма?

– Разумеется.

– И мне туда же, – сказал он деловито. – Обожаю Маркса – Энгельса, это у меня с детства, вместо сказок, няня Арина Родионовна покойная до того любила жизнь замечательных

вождей пересказывать...

– Нет, Юра, – сказала она твердо, – не ходите за мной, вы будете мне мешать.

– Хорошо, – сказал он покорно. – Послушайте! – вдруг спохватился он. – А вдруг вы не придете? Где вас искать?

– В общежитии на Мытнинской, комната сто пятнадцатая.

– А фамилия? – вспомнил Юра библиотекарьшу.

– Преображенская, – сказала Галина. – Счастливо!

– Счастливо, – повторил Юра, глядя, как она проходит контроль и поднимается по широкой лестнице на второй этаж.

Так они познакомились.

Теперь Юра стал заходить к ней в общежитие часто, почти каждый вечер. Подружился с Алешей, легко оставался с ним, когда Галине нужно было куда-нибудь уходить по делам или учебе. Исправно приносил мальчику яблоки, конфеты, игрушки. Ходил с ним гулять. Но на саму Галину не посягал. Это ее удивляло.

«Чего ты ждешь? – писала ей Татьяна, вышедшая вторично замуж за морского офицера, на этот раз, кажется, удачно, поскольку забрала наконец сына от родителей к себе. – Выходи за него замуж!»

«Как я могу за него выйти, если он не делает мне предложения?» – спрашивала Галина.

Татьяна удивлялась ее тупости.

«Так сделай ему сама! – учила она в письме. – Они же все

дураки, счастья своего не понимают, им надо помочь. После еще спасибо скажут. Ты думаешь, мне мой Сашка сделал предложение? Дудки! Самой пришлось взять инициативу. „Саша, – говорю, – а давай поженимся?“ До сих пор от счастья опомниться не может. Представляешь? Посадит меня на диван, сам станет передо мной на колени, смотрит влюбленными глазами и говорит: „И откуда ты такая взялась, королева?“ Вот это, понимаю, любовь! Так что дерзай, чадо, не упускай шанс. Нас-то, дур, мно-ого, а их не очень, приличных – так и вообще днем с огнем. На свадьбу позови, все втроем прикатим. Семьями будем дружить, в Сочи в отпуск летать. Ух, Галка, заживем!.. Чао-какао. Твоя Танька».

Однажды они сидели все вечером за столом. Юра держал Алексея на коленях и кормил кашей.

– Хорошо смотрите, – сказала Галина.

– Отлично! – подтвердил Юра. – Ну, давай, малыш. Это за маму... Это за папу...

– Ты заметил, он уже называет тебя папой.

– Так что ж... – уклончиво ответил Юра.

– Тебя это не смущает?

– А почему это должно нас смущать, да, Алексей? – Он умудрился затолкать ему еще одну ложку в рот.

– Пусть он ест сам, – сказала Галина, – уже большой. – И после паузы: – Ребенок привыкнет, потом будет травма.

– Почему травма? И очень хорошо, что привыкнет. – Он насторожился, как бы еще не понимая, к чему она клонит.

– Ну, тогда, – она глубоко вздохнула, – нам надо пожениться.

Наступила мертвая тишина, только Алеша позвякивал ложкой по пустой тарелке.

Юра спустил Алешу с коленей.

– Я полный дурак, – сказал он. – Я боялся тебе об этом сказать сам. Я боялся, вдруг ты откажешь...

Он подошел и неловко обнял Галину. Она облегченно уткнулась ему в грудь. «Вот и суженый, – думала она. – Вот и хорошо. Вот и правильно. Как же я измучилась! Устала. И как же это хорошо, когда можно вот так уткнуться носом в теплую грудь и большие мужские руки ласково погладят тебя по голове, а ночью обнимут тебя всю, и тебе будет тепло и уютно, и легко, и все будет легко, потому что ты больше не одна».

Она заплакала. И они долго стояли так, обнявшись. И маленький Алеша стоял между ними и тоже обнимал их ноги.

Так у Алеши появился третий папа.

Юра.

# Часть вторая

## 1

Двенадцатилетний Юра с мамой Еленой Павловной вернулись в Ленинград в пятьдесят шестом году, когда режим чуточку ослабел и репрессированный народ (из тех, кто остался в живых) потихонечку стал возвращаться в родные места из мест чужих и весьма отдаленных.

Их прописала у себя тетушка Клавдия Петровна Соваж, занимавшая огромную комнату в тридцать шесть метров в коммунальной квартире на Таврической, некогда принадлежавшей целиком ее семье. Со времен революции их начали уплотнять, пока наконец они вшестером (муж, трое детей и престарелая мать) не оказались в одной комнате, бывшей их столовой.

Постепенно члены семьи начали умирать в мир иной. Сначала умерла мать, не выдержавшая революционных пертурбаций. Ее похоронили на Смоленском, недалеко от блаженной Ксении, к которой петербуржцы неустанно вот уже два столетия притекали за помощью и утешением.

Муж самой Клавдии Петровны, полковник царской армии, перешедший затем в Красную (большевики практиковали захват семей царских офицеров, отказывавшихся у них

служить, в заложники с последующим их расстрелом), после окончания Гражданской войны был арестован, и о дальнейшей его судьбе никто не знал. Клавдия Петровна предполагала худшее.

Оставались трое детей, из которых один умер во младенчестве в голодные революционные годы, двое других, уже взрослых, в блокаду.

В тридцать четвертом году после убийства Кирова (заказчиком сперва считали сталинскую оппозицию, потом, с легкой руки Хрущева и последующих демократов, – самого Сталина, потом – снова оппозицию) началась очередная чистка больших и малых городов и весей страны, в особенности Ленинграда, где и был застрелен вождь местных коммунистов. Тогда пострадали более тысячи ленинградцев из категории бывших, не до конца уничтоженных за восемнадцать послереволюционных лет.

И снова пронесся стон по России. Сколько их было, этих стонов, плачей, криков, воплей и предсмертных хрипов, знает один Бог, нам их не сосчитать. Уже входило в жизнь новое поколение, родившееся за два-три года до революции или после нее, наивно считавшее себя чисто советскими людьми и искренне не понимавшее, за что же их-то теперь?! По всему выходило: за то, что они дети своих родителей. В голове мешалось. Ведь товарищ Сталин сказал: дети за отцов не отвечают! Ну а если все-таки отвечают, так не надо нам таких и отцов!

И полетели покаянные письма в Кремль, в ЦК, в НКВД, в Красный Крест, товарищам Сталину, Молотову, Ежову, жене Горького Пешковой...

Да, «я виновен в том, что пытался получить высшее образование обманным путем, скрыв свое социальное происхождение, но...» Да, «дед мой со стороны отца, с которым мать развелась двадцать лет назад, имел аптеку в Петрограде, но...» Да, «мои родители – бывшие дворяне, но я воспитан исключительно советской трудовой школой и с прошлым моих родителей никакой связи не имею...» Да, «мой муж – инженер путей сообщения, убитый бандитами в двадцатом году при постройке Бухарской железной дороги, но с его братом, эмигрировавшим во Францию, мы не имели никаких сношений...» Да, «мы родились в графской семье, но мы не можем быть в этом виноваты, так как по своей молодости не могли знать о прежней жизни и при советской власти добились гораздо большего, чем наши родители в царское время...» Да, «мой муж был до революции кадровый офицер, получил звание штабс-капитана за тяжелые ранения в германскую войну, но он давно умер, за что же нас с сыном выселяют сейчас из Ленинграда с клеймом „чуждый элемент“, не дав сыну окончить техникум (осталось всего две недели!)?...» Да, «мой муж дворянского происхождения, но он оставил нас, когда дети были еще совсем маленькие и он не мог оказать на них никакого антисоветского влияния...» Да, «я пианистка, а мой отец до революции был ди-

рижером Петербургской консерватории, но почему меня с детьми высылают теперь без паспорта в Казахстан, где нет для меня никакой работы и мы вынуждены умереть голодной смертью...» Да, «на моего мужа, врача по профессии, не найдено и не могло быть найдено никакого обвинительного материала, но он был обвинен в том, что мог быть использован в качестве неосознательного шпиона, что и предъявлено ему в качестве обвинения...»

Все они думают, что это несправедливость, ошибка, что революция давно закончилась и устоявшей советской власти они никак не помеха и не враги, напротив! Старшее поколение давно смирилось и потихоньку, безмолвно вымирает, лелея в сердце своем, как единственную радость и упование, будущую встречу с родными в загробном мире, а молодое так и рвется в бой – учиться, строить самое передовое и гуманное общество на земле! Почему же родина им не доверяет, не дает возможности проявить себя? Пасынки, они искренне хотели стать если не кровными родными для советской власти, то хотя бы незаконнорожденно-усыновленными ее детьми. Они клялись ей в вечной верности и любви, обещали не щадить своих молодых сил и своего живота ради ее блага (что вскоре и доказали, поголовно уйдя на фронт!). Все было тщетно. В Кремле, очевидно, понимали значение крови (или, как теперь сказали бы, генов) лучше, чем вся эта «бывшая» публика. И как бы ни старался вон из кожи лезть бывший, для рабоче-крестьянской власти он никогда

не станет стопроцентным советским. Посему и перевоспитание ГУЛагом велось на истребление, а кого не сумели истребить, тех – в тьмутаракань, в казахско-туркменские голодные степи, подальше от культурных столиц, с глаз долой, к дикарям-туземцам, авось с голоду-холоду перемерут.

Нет, не могли знать бывшие, что и сами они, и клейменные их, порченные дети обречены уже по факту своего рождения на смерть, и в этом вопросе срок давности не имел никакого значения. Как не имели значения честные намерения и благородные порывы бывших. «Не ищите в деле улики, восстал ли он против Совета с оружием или на словах. Первым делом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и должны решить судьбу обвиняемого». Так учили большевики чекистов еще в восемнадцатом году. В тридцать пятом это ленинское положение все еще оставалось в силе.

Удивительно, но Клавдия Петровна благополучно пережила все чистки, не считая, правда, полностью загубленной семьи. Последними в блокаду погибли от голода две ее дочери. Война вообще прибрала многих из тех, кого еще не успели по какой-то причине вычистить, но кого так и не захотела полюбить советская власть. Клавдия Петровна осталась жива и на свободе.

Сестре ее Марии Петровне, Юриной бабушке, повезло меньше.

Мария Петровна вышла замуж за врача Павла Николаевича Захарьина, призванного на германский фронт в четырнадцатом году и демобилизовавшегося в семнадцатом в связи с развалом армии. Голод революционного Петрограда погнал их на Кубань, где у родителей Павла Николаевича оставалось маленькое имение. Отсидеться в глуши не удалось, вся Россия кипела и бурлила, палила и стреляла, корчилась в тифозных бараках, мерла и пухла от голода и болезней.

Его демобилизовали в Добровольческую армию Деникина. Он прошел с армией первый Ледовый поход и после ранения снова оказался в родительском доме с женой и маленьким сыном. Переходившие из рук в руки Дон и Кубань умывались кровью. Зажиточное казачество подвергалось такому же классовому уничтожению, как и все прочие «буржуи» и «кадеты». К буржуям красные относили всех, у кого было хоть какое-то имущество, пара лишних штанов, которые можно было отнять, кто сам не ходил с протянутой рукой, к «кадетам» – всю интеллигенцию без разбора (включая почтовых барышень и машинисток).

Родителей Павла Николаевича расстреляли как буржуев.

Сам же Павел Николаевич с семейством бежал под защиту оккупировавших самостийную Украину немцев.

Но немцы и не собирались защищать русских от русских. Заключив мир с большевиками, они быстренько убрались восвояси спасать от будущей перманентной (имени Троцкого) революции родную Германию.

В Киеве, как и по всей Украине, установилась власть Чрезвычайки со знаменитой палачихой Розой Шварц, умучившей за полгода владычества до ста тысяч человек, заливая глотки истязаемым, «чтоб не визжали как поросята», оловом и разбивая им головы молотком.

И повсюду, куда бы ни вступала впоследствии (увы, только временно) Добровольческая армия, она сталкивалась со сценами насилия, перед которыми меркли все известные нам картины римских калигул, восточных тамерланов, израильских иродов. Подвалы, заваленные человеческими телами, слегка присыпанные траншеи с порубленными и еще не добитыми людьми, распятые на крестах, утопленные в нужниках, обезглавленные священники...

Они побежали дальше, в Одессу, которая еще, как и весь Крым, оставалась незанятой большевиками, рассчитывая, в крайнем случае, при окончательной гибели белого движения попытаться уйти за границу.

В феврале двадцатого Одесса пала, началось отступление из города всех военных и гражданских лиц, которым грозила опасность. Тысячные толпы осаждали военные корабли союзников и русские торговые пароходы, отправлявшие беженцев в Константинополь и Сербию. Не попавшие на суда стрелялись, сходили с ума, в безумии бросались вплавь за отходившими кораблями.

Доктор Захарын с семейством не сумел сесть на пароход и с группой коменданта Одессы полковника Стесселя решил

переходить румынскую границу, когда красные уже входили в город. Эта группа состояла из небольшой части боеспособного офицерства и огромной массы гражданских беженцев: жен и детей военных, чиновников, иностранцев, не пожелавших оставаться с большевиками, тифозных больных, раненых, наконец, разных мастей спекулянтов и простых обывателей. Громадный обоз растянулся на несколько километров. Люди везли с собой все, что только можно было увезти в преддверии непостижимой своей судьбы и непредсказуемых событий.

Румыны, которых в шестнадцатом году спасли от полного истребления немцами русские войска, вели себя странно. Они давали разрешение на переход через Днестр, а потом начинали стрелять в измученных бегством, замерзающих от холода, умирающих от ран и болезней, голодных людей. Так было несколько раз. Первыми их жертвами стали кадеты. Они шли мирной цепочкой под белым флагом со своим директором и преподавателями в уверенности, что не станут румыны стрелять в детей, тем более что есть договоренность о переходе через границу. Но румыны, подпустив их на близкое расстояние, открыли артиллерийский огонь. Появились убитые и раненые. Кадеты повернули назад. Началась паника. Мечущуюся, обезумевшую толпу расстреливали с другого берега. Люди ринулись через реку, покрытую тонким льдом, на русский берег – там их встречали огнем красноармейцы. Так они несколько суток металась меж двух

огней, пока из двенадцати тысяч вышедших из Одессы беженцев не осталось около полутора тысяч...

Оставшихся в живых добывали поодиночке местные мужики, и не потому даже, что они были особо красные или за большевиков, просто в то безумное время убийство, насилие и разбой не считались чем-то из ряда вон выходящим, это был естественный, нормальный фон и ход жизни.

Доктора Захарьина с женой, потерявших в этом метании между румынами, красными и мародерами-мужиками маленького сына, неожиданным образом спас Котовский. Они попали к нему в тот счастливый час, когда отряду до зарезу нужен был доктор, и Павел Николаевич провел в плену у красного командира шесть месяцев до самого почти окончания Гражданской войны. В двадцать первом году они вернулись в Петроград. Их квартира оказалась разграбленной и занятой, но все же им на двоих выделили отдельную комнату, а Павла Николаевича приняли на работу в Мариинскую больницу на Литейном.

Через полгода его арестовали, он провел несколько месяцев в изоляторе и был выпущен на свободу. В двадцать седьмом году, к десятилетию революции, его арестовали снова и дали пять лет лагерей. Работал он в лагере по своей специальности и потому, вероятно, выжил. Отбыв срок, снова вернулся в Ленинград в ту же Мариинскую больницу, пока в тридцать пятом не началась новая генеральная чистка. Павла Николаевича вновь арестовали, и всю семью (жену и двоих

родившихся уже в Ленинграде девочек тринадцати и девяти лет) выслали из Ленинграда в Воронеж. Работа для Павла Николаевича нашлась, но жить было негде. Они скитались по частным домам, переезжая со всеми своими пожитками из одного захудалого угла в другой: никто не хотел брать к себе большую семью, люди и без понаехавших буржуев жили скученно и тесно. Мария Петровна страдала; изгнанных и загнанных нуждой и неустройством людей называли ужасными словами: «выковыренными», а еще – «ленинградской сволочью». Детям то и дело приходилось менять школы, отношение к ним было недоверчивое и злобное. Они были изгои. Мария Петровна боялась, что девочки возненавидят отца («честнейшего и благороднейшего человека!»), – в газетах расхваливался подвиг Павлика Морозова, и школы называли его именем, и пионерские дружины. «Да и как их теперь воспитывать? – терзалась в недоумении Мария Петровна. – Если на любви к советской власти, то кто же тогда их трижды судимый отец и все они? Преступники? Но в чем их преступление? И как же быть с верой? Вслед за Союзом безбожников повторять насчет опиума для народа? Или прятать и зашивать в белье крестики и с детства учить детей лицемерить и лгать?» Она не задавала мужу подобных вопросов. Шизофреническое время постепенно сводило на нет всех рефлексирующих шизофреников, чтобы вся остальная масса, закаленная, как сталь, в борьбе с врагами, уже никогда и ни в чем не сомневалась и всегда имела мнение, согласное с ге-

неральной линией партии.

Однажды старшая дочь Елена пришла из школы зареванная, и Мария Петровна долго не могла добиться от нее, что же произошло в школе. Оказалось, на уроке литературы в рамках всеобщего психоза по поиску врагов народа учительница задала всему классу задание: попытаться найти на обложках школьных тетрадей в васнецовских стилизованных иллюстрациях к русским былинам возможные замаскированные надписи типа «Долой ВКП (б)» или «Долой [уже давно лежавшего в Мавзолее] Ленина» (язык не поворачивался похулить Сталина даже в связи с уроком на бдительность) и т. д. Ученики со всей юной старательностью искали подозрительные надписи и, что самое удивительное, своей буйной детской фантазией что-то похожее, как им казалось, находили! Наперебой они предлагали самые фантастические варианты «долой», и только Елена не увидела в картинах бедного Васнецова ничего, компрометирующего советскую власть. Тогда учительница вызвала ее к доске и перед всем классом как следует отчитала, презрительно заявив, что эта ученица и не могла ничего найти, поскольку ее родители сами из бывших и не могут любить советский строй; что они, должно быть, и детей своих к этому приучают и вообще таким, как Елена, не место в пионерской организации имени вечноживого Ильича. Елена рыдала и сквозь рыдания признавалась в любви к советской власти, говоря, что для нее галстук – самое святое на свете, а ее родители, несмотря на свое про-

исхождение, тоже трудятся на благо Родины. Класс притих, не смея возражать учительнице, и только один второгодник громко заявил с последней парты: «А вы ее выгоните из школы, Нинель Григорьевна, раз она такая!..»

Через год Павел Николаевич умер от сердечного приступа. Мария Петровна осталась с двумя детьми, положение было отчаянное, на работу никуда не брали, они голодали.

Старшую девочку, Юрину маму, Елену Павловну, а тогда просто Лену, приняли учиться в ФЗУ на швею. Младшая, одиннадцатилетняя Нина, втайне от матери написала письмо вождю:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Пишет Вам Нина Захарьина из Воронежа. Я пионерка, учусь на хорошо и отлично и мечтаю стать врачом, как мой папа, который недавно умер, и нам не на что теперь жить. Дорогой Иосиф Виссарионович, я знаю, что Вы – самый справедливый и самый добрый человек на земле, помогите нам, пожалуйста. Я хочу, чтобы маме моей дали хоть какую-нибудь работу, а то часто нам совсем нечего кушать. А еще нас все здесь называют нехорошими словами за то, что мы приехали из Ленинграда, но мы не хотели сюда приезжать, а нас выслали, мама говорила, потому что мы бывшие. Дорогой Иосиф Виссарионович, моя сестра учится теперь в ФЗУ и скоро пойдет работать на благо нашей великой Родины швеей-мотористкой. Я, когда вырасту, буду работать врачом, я очень хочу, чтобы люди никогда не болели и жили долго и счастливо. Мы очень-очень Вас любим и

желаем Вам крепкого здоровья и счастья.

Мама и никто не знает, что я пишу Вам письмо, поэтому ответьте мне, пожалуйста, в нашем городе на Главпочтамт.

Любящая Вас пионерка Нина Захарьина».

Дорогой Иосиф Виссарионович ничего пионерке Нине не ответил. Она долго еще ждала и ходила с загадочным выражением лица и, даже когда в школе ее дергали за косы, обливали чернилами тетрадки, толкали и подставляли подножки или говорили бранные и обидные слова, ничего не отвечала и только загадочно улыбалась. Ее стали считать чокнутой.

Между тем приближалась катастрофа. Деньги давно кончились, все, что оставалось более-менее ценного из мужниных и своих вещей, Мария Петровна продала, дешевенькие золотые колечки, сережки и прочая женская мелочь были отданы в уплату за жилье – маленький чуланчик с окном на кухню. Последние две столовые серебряные с позолотой ложки хозяин взял за разрешение пожить им в чуланчике еще неделю. Мария Петровна решилась на отчаянный шаг. Она пришла в местное НКВД и написала заявление:

«Я, Захарьина Мария Петровна, высланная из Ленинграда как член семьи моего мужа Захарьина Павла Николаевича, врача по профессии (умер двадцать третьего марта тысяча девятьсот тридцать шестого года), вместе с двумя дочерьми Еленой и Ниной, будучи без работы и без всяких средств к существованию, опасаясь за жизнь своих детей, прошу арестовать меня как бывший элемент и заключить в тюрьму, а

двух дочерей отправить в детский дом, чтобы им не умереть голодной смертью».

Заявление у нее не приняли, сказав, что не могут ее арестовать по названной ею причине. Тогда она сказала: пусть ее арестовывают как контрреволюционерку, поскольку, по ее глубокому убеждению, то государство, которое они построили, является людоедским и она предпочтет, чтобы ее расстреляли, чем смотреть, как мучаются ее дети и еще тысячи ни в чем не повинных граждан.

Ее арестовали. Шестнадцатилетнюю Елену поместили в общежитие для учащихся ФЗУ, одиннадцатилетнюю пионерку Нину направили в детский дом в другой город. Больше они друг друга не видели.

## 2

Закончив учебу, Елена стала работать на швейной фабрике. Ей позволили вступить в комсомол. Расправившись с семьей, советская власть, по-видимому, ее простила. Но когда Елена попыталась разыскать следы матери, ей дали понять, что она умерла и вообще о матери ей лучше не вспоминать. Перед войной она вышла замуж за простого рабочего парня Петра Мельникова.

Она познакомилась с этим симпатичным коренастеньким пареньком на комсомольском субботнике. Потом они несколько раз сходили в кино, и, провожая ее в последний раз в общежитие, он вдруг прижал ее в темном углу подъезда и, хватая за грудь, отяжелевшим голосом произнес:

– Пойдешь за меня замуж?

Она ошеломленно смотрела на полуизвестного ей паренька, лузгавшего направо-налево семечки, и, помня вдолбленный матерью в подкорку ее наказ, почти машинально спросила:

– А родители у тебя – кто?

– Как – кто? – не понял он. – Крестьяне...

– Кулаки?! – почти выкрикнула Елена.

– Какие кулаки... – усмехнулся Петр. – Мамка одна... да семеро ртов... Один я у них помощник.

Елена облегченно вздохнула и, зажмурившись, обреченно

и храбро произнесла:

– Тогда давай.

Он засопел и вплотную придвинул ее к себе. Здесь же, в темном углу парадной, он лишил ошеломленную, ничего не понимающую Елену девственности.

На другой день они расписались.

Это случилось в самом конце мая. А через двадцать три дня голос Левитана обрушил на всю страну: «...фашистские захватчики... без объявления войны... на нашу Родину...» И прогремело вослед тяжело и страшно: «Вставай, страна огромная!..» – отчего и три послевоенных поколения спустя бегают мурашки по коже. И вся огромная страна замерла у черных репродукторов и одновременно разом вздохнула. И от этого тихого ее вздоха содрогнулась вся русская земля. И вспомнив тьму бесчисленно покрывавших ее тело нашествий, облила сердце кровью и благословила своих сынов на подвиг и на смерть.

Началось то, к чему вроде бы столько лет готовились, но оказались все равно не готовы. Внезапное и вероломное нападение застало страну врасплох. Хотя такое ли уж внезапное? И почему вероломное? Неужели так уж доверяли пакту о ненападении? Или надеялись: не посмеют? Или полагали: не сейчас?

И покатило по Руси горе...

Патриотизм был удивительный. Все же советской власти удалось воспитать молодое поколение в любви и преданно-

сти к себе. Это – загадка. Как и многое в двадцатом веке. В Февральской, например, революции. Теперь-то мы знаем, как делаются «оранжевые», «розовые», «тюльпановые» и всякие прочие революции, что у каждой из них – свой режиссер и режиссура эта исходит из одной и той же старинной школы, но тогда... даже преданнейшие и умнейшие люди России десятилетиями создавали «красную» гвардию и в топоте и гуле тысячных толп расхристанных солдатских дезертиров слышали «музыку революции».

Теперь, как и тогда, никто бы не мог вместить, как и отчето, по каким хитроумным сплетениям поднялась и покати-лась кровавая волна той роковой и проклятой Февральской революции, а вернее сказать, бессмысленного и беспощадного бунта, начавшегося, казалось бы, из пустяка – ну не вынесла чья-то надорвавшаяся душа в очереди за хлебом. (Черным! Белого было в избытке!) И министры кричали: «Хлеб в Петрограде есть!» И, мол, еще везут столько-то и столько-то тысяч эшелонов! Так ведь кто ж их тогда слушал, царских министров? Ох, да разве ж такое сносил и выносил (!) русский народ – один-два дня перебоев с хлебом! А как же голод двадцатых – тридцатых? А через четверть века – блокада?! Да еще – это надо тоже учесть – во время мировой войны миллионы солдат на фронте жертвовали не пузом – жизнью! А тут – не выдержали нервы, раздражаемые ловким провокаторским словом, и понеслось:

– Хле-ба!..

И громили все, что попадало под руки.

И казаки не стали стрелять в народ, моментально ставший толпой.

– Ура казакам!

И наоборот – из народа (а кто – не разобрать) стреляли (нашли козлов отпущения!) – в полицию. И убивали. Жестоко. Безжалостно. С остервенением.

И – ничего. Скушало и это ненавистное царское правительство, пуще огня гееннского боявшееся пролить народную кровь.

А народ несколько не боялся, но все больше и больше входил во вкус.

А тут и солдатики подмогли. Тысячами томились они в Петроградском запасном гарнизоне, недавно мобилизованные, не обстрелянные, праздные, не желавшие идти в окопы.

Началась охота на офицеров. Их стреляли, кололи, подымали на штыки, распинали, топили. Некоторые стрелялись сами от непереносимого бесчестья.

Правительство молчало.

Интеллигенция слушала «музыку революции», пока свист ее пуль и рык ее октябрьских вождей не заставил ее в страхе и отвращении запоздало отпрянуть.

Запахло сатанинской бездной...

Февраль! Начало всеобщего избиения. Начало всеобщего озверения... Начало всеобщего безумия... Дикая власть одичалой толпы брала свое начало здесь, в гениально сре-

жиссированном февральском бунте.

Бездействие властей потрясало.

И не просто бездействие, паралич воли. Столбняк. Никто не хотел брать на себя ответственность. Боялись писать правду царю, находящемуся в Ставке. Боялись превысить полномочия. Боялись пролить кровь народа – все еще хорошо помнили 9 января. И пуще всего боялись неистового воя либеральной прессы и собачьего лая думцев.

И вот в результате этой круговой столбнячной боязни в несколько дней (всего!) и произошло то, о чем позднее напишет гениальный Розанов: «Россия слиняла в два, максимум в три дня» – тот коренной слом (отречение царя), который и пустил всю русскую жизнь под откос.

Много ненависти было излито на царский трон.

А как бы вам понравилась такая, например, открытка: чернявый господин с бородой держит жертвенного петуха с головой государя, а в другой руке – нож? Ой, не хотите ли, господин хороший, проследовать в тюрьму за экстремизм и попытку свержения законной власти? Нет, господин знает, что он неподсуден, за него, если что, вступится вся российская и мировая пресса, ведь все прекрасно понимают, что во всем виновато проклятое царское правительство и гнилой царский режим, а господин согласно завоеванным свободам лишь выражает законное народное требование устранить тирана. И за это ему ровным счетом ничто не грозит.

А в цивилизованных странах и того пуще. Издали кни-

гу «Николай Последний». Значит, издатели всё уже заранее предуготовили, предрешили и предуготовили. Покончить с Россией – обезглавив царя, покончить с русским народом – расстреляв Церковь.

Осталось осуществить.

И вот новые, всё более либеральные поколения волна за волной накатывали на, казалось бы, незыблемые основы. И размыли, расшатали, сокрушили колосс (не глиняный, конечно, но ведь в этом мире ничего вечного нет). Более ста лет сокрушали, со времен своей французской учительницы и тоже Великой революции: тот же террор, та же ненависть к Церкви, тот же размах...

И в февральском бунте загадка, и в октябрьском перевороте, и в отречении царя – тоже загадка. Это мы теперь читаем царскую скорбь: «Кругом измена, и трусость, и обман». А тогда те, кто трусили, предавали и обманывали, были уверены, что действуют во благо России.

Начальник штаба Верховного главнокомандующего, по сути сам Верховный Главнокомандующий, генерал Алексеев, обласканный царем, в первые же дни февральского бунта рассылал тайные телеграммы командующим фронтами с вопросом об отречении Николая. И все русские генералы, за исключением немца Келлера и азербайджанца Хана Нахичеванского, сказали: да, отречение необходимо. Никто не догадывался, что за этим «да» последует. Хотели как лучше... (О, знаешь ли, Россия, этот свой вечный соблазн?)

А последовала кровь уже как бы и апокалиптическая...

Ох как никто не хотел понапрасну проливать русскую кровушку!.. И более всех не хотел проливать ее последний святой царь Николай Александрович, прозванный темными недругами Кровавым.

И царица, проклиная, оклеветанная: как же, немка, стало быть, предательница! Не помогла и ангельская работа ее с двумя старшими дочерьми сестрами милосердия в госпитале для раненых! Сидела одна с больными корью детьми, с сорокаградусной их температурой, в царскосельском дворце, а приказ вступить в бой с подступавшей ко дворцу солдатской чернью, готовой на все, отменила! Пошла на унижительные переговоры с бунтовщиками, но стрелять в свой родной русский народ отказалась.

Казалось бы, чего проще? Задавить бунт в зародыше. Проявить волю, силу, твердость, власть, жестокость, наконец. Вспомнить предков, как расправлялись с бунтовщиками Иоанн, Петр, Екатерина, прадед Николай!.. Малая кровь предотвратила бы бóльшую!..

Николай Второй поступил иначе. Он отказался от власти, посчитав, что такова воля народа (в том и предательство близстоящих).

Но была ли это действительно воля народа (старые солдаты плакали, слушая манифест) или только нестерпимая жгучая похоть бояр править страной так, как в Европах? (Вспоминается не прочитанный либеральной интеллигенцией Да-

нилевский: «Европейничанье – болезнь русского духа...»; «Европой и наказывал, и будет наказывать нас Господь...»)

Да, старые солдаты плакали...

И все же... равнодушие в целом народа к отречению с последующим арестом и расстрелом всей царской семьи показало, что мистически народ уже готов жить без царя, как вскоре и без Бога (эти вещи связанные).

Однако тысячелетняя привычка к вере и послушанию не осталась втуне. И большевики в лице Ленина – Сталина огнем и мечом сумели заставить простодушно-доверчивый народ снова поверить в Царство Божие, но уже на земле, и возлюбить вместо Бога – себя.

Религиозные корни коммунизма общеизвестны: мессианство, построение утопического рая на этом свете, вера в светлое будущее, «мощи» вождей и поклонение новым святыням – все это ложилось на неизменно верующее, мягкое сердце России, так что оно и не заметило подмены, постепенно утратив способность к «различению духов».

Эту страшную подмену духовных сущностей еще ясно видела первая эмиграция, но и она после русской победы во Второй мировой войне временно утратила ориентиры. Ей показалось (и так хотелось в это верить!), что сквозь масонскую красную звезду проступает тысячелетний православный крест. Долгожданная надежда на восстановление национальной власти обернулась попыткой массовой реэмиграции и незамедлительно последовавшим для вернувшихся на

Родину ГУЛагом. Игра с русским патриотизмом и Русской Церковью, исполнившими свою роль, была завершена; мстительность «кремлевского горца» требовала удовлетворения. И теперь, после победоносной войны, он жаждал их возвращения, чтобы насытиться кровью тех, кто уцелел, спасся, кто успел когда-то избежать его кровавого пира.

Превращение народа – когда-то богоносца – в богоотступника, потом – в Ивана, не помнящего родства, потом – в циничного пофигиста и, наконец, – в серую деидеологизированную и денационализированную массу новых космополитов, готовых все украсть, все купить и продать, все забыть и предать, – завершилось. Два столетия замешивали в головах русских людей новую небывалую закваску смешения добра и зла, – и вот, на радость всех недругов России, она принесла плоды.

### 3

Петр Мельников, сын воронежского крестьянина Матвея и жены его Марфы, муж Елены, дочери бывших – военного врача Захарина, потомственного дворянина, и жены его Марии Петровны, урожденной Свешниковой, записался добровольцем на фронт, прожив с Еленой двадцать три дня в зарегистрированном браке. Зачатый ими младенец родился недоношенным и через день умер. Елена даже не успела придумать ему имя. Писем от Петра она не получала и не знала, что в первые же месяцы войны он попал в окружение и сдался в плен.

Только тот, кто пережил первые месяцы войны, помнит этот первоначальный кошмар отступления, когда плохо вооруженные, застигнутые врасплох, наспех мобилизованные и брошенные под немецкие танки, самолеты и артиллерию русские солдаты – вчерашние рабочие, студенты и школьники – сотнями тысяч сдавались в плен, и таких, как Петр, за первые полгода войны было уже около четырех миллионов (!). Знаменитым приказом номер двести семьдесят от шестнадцатого августа сорок первого года Сталин объявил всех пленных изменниками Родины, что означало медленную голодную смерть в плену – для них, репрессии на Родине – для их близких. Хотя Советский Союз и подписал женеvские соглашения о военнопленных, но подпись эта ровным счетом

ничего обнадеживающего не означала для их судеб. Международная помощь Красного Креста также не имела к ним никакого отношения... Что же касается декларации: «Сын за отца не отвечает»... она, как и многое в Стране Советов, существовала только в виде политической риторики.

Особенно страшным для наших пленных был первый год. К лету сорок второго от ран, голода и болезней в плену погибло более двух миллионов человек.

Справедливости ради скажем, что в своей безжалостности (надо же было во что бы то ни стало остановить вал пораженчества и бегства!) стальной Иосиф (они все были железными, стальными и каменными) был последователен, не сделав исключения и для собственного своего сына, бросив в ответ на предложение немцев обменять Якова на Паулюса знаменитую свою фразу: «Я солдат на генералов не меняю». Можно над этим ответом иронизировать, можно им восхищаться, но, как бы то ни было, сыновья Сталина, как прежде сыновья великих русских князей и царей, воевали наравне со всем народом.

\* \* \*

...Петр шел в колонне из полутора тысяч пленных уже третьи сутки, и третьи сутки им не давали есть. Тех, кто не мог идти от истощения или ран, пристреливали на ходу. Время от времени немцы устраивали для себя импровизирован-

ные столовые и с аппетитом обедали, бросая ради развлечения голодным русским хлебные корки или окурки сигарет, страшно веселясь, когда из-за «подарка» устраивалась между пленными чуть ли не драка. Такое поведение «недочеловеков» – славян, по-видимому, казалось арийцам признаком низшей расы, а посему низшей расы несколько не стеснялись и все свои естественные отправления производили тут же, у нее на глазах.

К ночи они дошли до какой-то белорусской деревни, где уже хозяйничали немцы. Их подвели к деревянному амбару, где им предстояло заночевать, и стали пересчитывать. Есть снова не дали, зато выкатили бочку с водой, и обезумевшие от голода и жажды люди бросились, давя друг друга, к воде. Немцы выходили из себя, пытаясь навести порядок среди этих «грязных свиней», но когда порядка не получилось, просто бросили в толпу гранату. Убитых, а заодно и раненых оставили на произвол судьбы, зато оставшиеся в живых доходяги уже сами послушно выстроились в очередь за кружкой воды. Так цивилизовывали русских.

Утром им все же раздали по куску хлеба, и, пристрелив еще не умерших с ночи раненых, поредевшую колонну повели дальше на запад, в Германию.

Там их вместе с другими военнопленными поместили на огромном футбольном поле. Спали в любую погоду под открытым небом, ели один раз в сутки баланду из свеклы. От голода пленные выедали траву. Началась повальная дизенте-

рия, следом за ней – такая же повальная смерть. Каждое утро приезжала конная фура, умерших ночью вместе с умирающими кидали в телегу, сбрасывали в одну яму, слегка присыпали землей.

Петр старался не есть траву.

В ноябре сорок первого его повезли на юг Германии в обычный концлагерь под Мюнхеном.

Лагерь, в который попал Петр, был отгорожен от других, нерусских лагерей двумя рядами колючей проволоки. Ежедневно пленные из других стран получали продовольственные посылки и письма, наши – положенные немцами пятьдесят граммов непонятного состава, черного, как уголь, хлеба и поллитра баланды. А вместо поддерживавших дух писем из дома им предоставлено было право день и ночь казнить себя за то, что не успели или не смогли покончить с собой, прежде чем попасть в плен, да строить догадки о судьбе своих близких...

Ежедневно их водили на работу: рытье каналов или ремонт дорог. Воскресные дни помимо все той же работы и той же баланды отмечались еще одним мероприятием. По вечерам начальник лагеря выстраивал всех пленных и приказывал рассчитаться на первый – седьмой. Каждого седьмого расстреливали. Дважды Петр оказывался шестым... Да, Господи, он бы не возражал и против седьмого номера, не сегодня, так завтра, какая разница, все одно подышать! Многие не выдерживали, вешались на железных крючьях, кото-

рые немцы, как специально, вбивали в стены барачков. А может, и специально, чтобы лишний раз не мараить об эту «животную падаля» рук. А вчера один из доходяг, совсем уж, видать, свихнулся парень, решил исхитриться и получить вторую порцию баланды. Быстренько слопав похлебку из вареной без соли брюквы, снова встал в очередь и не заметил, что недреманным оком надзиратель уже вычислил его безумное намерение и встал возле раздатчика пищи на страже законности и порядка. И когда парень вторично протянул свою миску, немец изо всей силы ударил его палкой по рукам, по груди, спине, еще и еще, упавшего – по голове, почкам и еще по чему попало, краснея и чуть не лопааясь от натуги, входя в раж, пока не забил до смерти...

Этот плен открыл Петру такую истину, что хуже всего на земле быть русским. (Даже украинскому комитету немцы разрешили забирать своих пленных, и часто комиссия, в которой принимали участие и первые русские эмигранты, под видом украинцев оформляла русских, тех, кто особенно нуждался в помощи.) К этому были основания. Не в первый раз стремясь расчлениить Россию, немцы зарились на Украину в надежде рано или поздно установить над ней свой протекторат и посему, заигрывая с украинскими националистами, делали послабление и для их пленных. Политика Розенберга вообще сводилась к поощрению национального сепаратизма, способствуя созданию национальных военных противосталинских формирований, в которых по разным под-

счетах находилось до двух миллионов человек.

Смерть витала вокруг Петра, у него отнялись ноги, руки, отнялось все, весь его измученный организм отказывался жить. Таких обессиленных, неспособных к работе пленных сваливали в отдельное помещение, где они через несколько дней, не получая никакой медицинской помощи, умирали. Перед тем как попасть в этот смертный барак, Петр увидел сон. Является ему некий старичок, с бородой и уж таким лаской сияющим лицом, что у Петра сердце захолонуло от непонятной радости, и будто похожий на кого-то, будто когда-то им где-то виданный, присаживается к нему тихонько и говорит: «Трудно тебе, трудно. Тяжело, знаю, но надо терпеть. Домой придешь. Но и дома терпеть придется. Ты уж потерпи...» А сам гладит его по голове, гладит... и так сострадательно да любовно на него смотрит... Проснулся Петр в горячих слезах и долго искал глазами вот только что сидевшего тут, на краю его нар, удивительного старичка. Никого не узрев, еще долго не мог успокоиться, всхлипывал, шмыгая носом, и утирал грязными руками глаза, вспоминая только что пережитую небывалую ласку. И до того ласка эта была необычная, словно все его помертвелое существо взяли да и опустили в животворящий родник любви, такая ласка, что и мать родная так не приласкает сыночка, как этот неведомый старичок. И надо же такой благодати присниться! Да только где уж ему вернуться домой! Сон он и есть сон...

На следующее утро кто-то из немецкого начальства спро-

сил:

– Кто умеет ходить за коровами?

Выросший в деревне Петр, пошевелив непослушным языком, смог сказать:

– Я.

Его отвезли на скотный двор к местному помещику, где он немного откормился и не умер с голоду.

На скотном дворе Петр проработал полтора года. Это было счастливейшее время его плена. Картошка, овощи, крупа и даже хлеб были в достатке. Кроме того, общаться с коровами было намного безопаснее и проще, коровы были человечнее людей. Там же, на скотном дворе, он познакомился с украинской девушкой из-под Чернигова, угнанной немцами на работы. Оживший Петр стал ухаживать за Валентиной (у нее тоже имелся где-то пропавший без вести муж), они сошлись. Когда беременность Валентины сделалась заметной, ее куда-то увезли, а Петра перевели работать на шахту. Затем он попал в специальный лагерь, где над заключенными проводились различные медицинские эксперименты. Здесь ему сделали какой-то укол, отчего у него сразу стали выпадать зубы, волосы и ухудшаться зрение. В конце февраля сорок пятого года немцы вдруг занервничали и вскоре вообще покинули лагерь. Трудно сказать, отчего они не перебили заключенных – будущих живых свидетелей их преступлений, скорее всего не успели.

Когда мимо лагеря стали проходить советские войска,

весь лагерь плакал от счастья. Но строй за строем шли мимо наши почти уже победившие солдаты, не поворачивая головы в сторону предателей Родины.

Их спасли поляки. Они бросали на ходу шинели на колючую проволоку с пропущенным по ней током, и заключенные перекатывались по шинелям на свободу. Кто-то из поляков бросил кусачки. И вот толпа безногих, безруких, слепых, искалеченных людей без документов, без одежды, без еды, с выколотыми на руках номерами двинулась на восток, на милую Родину, в объятия НКВД.

Полковник Шабельский открыл глаза. В желтом солнечном диске на него ясно глядели два больших голубых глаза, а потом медленно проступило и все милое, круглое девичье лицо с легким румянцем и белокурыми кудряшками, старательно убранными под медицинскую шапочку.

– Лена... – счастливо узнавая, скорее подумал, чем прошептал он, почти не размыкая губ. – Леночка... Откуда?..

Нет, нет, он не успел осознать, откуда могла здесь появиться его Леночка, его юная жена, погибшая в двадцатом году в Крыму при наступлении красных. Леночка была здесь, рядом, и этого казалось довольно, чтобы, не размышляя, погрузиться в блаженное состояние расплавляющего сознание счастья.

Он попытался что-то сказать – и уловил тонкий аромат нежной девичьей кожи.

– Хотите попить? – спросила, наклонившись, фея – его Леночка.

Она поднесла к его губам стакан с водой, и он омочил губы.

– Много нельзя, – сказала нежная Леночка и отставила стакан.

Ах как много ему хотелось у нее спросить, узнать: как она жила все эти годы без него и как они очутились теперь вме-

сте; наверное, он уже умер, и они встретились там, где встречаются все любящие души... Он почувствовал, как путаются его мысли, как плохо слушается его язык, и закрыл глаза.

Больше всего ему хотелось сейчас, чтобы Леночка дотронулась своими милыми, легкими руками до его лица. И, словно услышав его желание, она положила свою прохладную ладонь на его разгоряченный лоб. У него была высокая температура после операции на груди – пуля прошла насквозь, задев легкое.

Анатолий Викторович Шабельский родился в тысяча восемьсот девяносто пятом году и в силу своего возраста и семейных традиций (все мужчины Шабельские служили в армии), естественно, принимал участие в Первой мировой войне. Как и его отец Виктор Николаевич, погибший в девятьсот пятнадцатом году, как и его старший брат Александр.

Анатолий Шабельский трагически пережил развал армии, начавшийся со знаменитого приказа номер один, этого ублюдочного детища Совдепа, вбившего клин между солдатами и офицерами и уничтожившего русскую армию. Он видел крикливых гражданских болтунов из Петрограда, наводнивших фронты и безнаказанно призывавших солдат к неповиновению офицерам («милитарищикам»), к братанию с немцами и дезертирству для углубления революционных завоеваний. Он видел смерть своих друзей-офицеров, погибших не от суровой руки германцев, но от своих же русских, распропагандированных, потерявших рассудок солдат.

Он видел, как с отречением царя Россия покатилась в пропасть, и падение сие великое уже не могло остановить ни жалкое Временное правительство, ни печально знаменитый истерик Керенский, ни выдающиеся русские генералы, те самые генералы, которые сперва подписались под требованием отречения царя, а после стали на защиту все тех же револю-

ционных завоеваний. Словно и впрямь, по слову оптинского старца, вместе с царем должно было погибнуть и Русское царство.

Он видел, как сначала под властью всесильного Совдепа, а потом и большевиков стала распадаться столица, превращаясь в чумной, одичалый, голодный город с праздношатающейся солдатней, с дикими пьяными их оргиями по ночам, с непредсказуемыми и непрекращающимися расстрелами, с вламыванием, грабежом и пальбой в квартирах той самой передовой и мыслящей интеллигенции, еще вчера нацеплявшей красные банты, а позавчера готовивших легкомысленной болтовней и словоблудием революцию. «Мы этого не хотели... Мы хотели не этого!..» Но красный джин, выпущенный наружу, нагло смеялся над ними, в их насмерть перепуганные лица.

С конца семнадцатого года из раненного зверем Петрограда, когда вихрем носилась по городу бешеная тройка – голод, расстрел и смерть, – начался дворянско-интеллигентский исход. И никому еще не было ясно, что власть зверя устанавливается не на месяц, год или два, но на бесконечно долгие десятилетия. Никто не догадывался, что уезжают они навсегда и что отъезд и последующая за ним тяжкая эмиграция – меньшее горе по сравнению с жизнью и смертью в советском «раю» тех, кто надеялся терпеливым пережиданием перехитрить зверя из бездны.

Но и в это апокалиптическое время люди продолжали

жить, жениться и выходить замуж, рожать детей.

В конце августа семнадцатого года после неудавшегося военного путча генерала Корнилова (предательски спровоцированного Керенским), который еще мог остановить сползание России в бездну, лейтенант-артиллерист Анатолий Викторович Шабельский женился на миловидной русской барышне с немецкими корнями Леночке, Елене Михайловне Шварцкопф, дочери адмирала Балтийского флота, заколотого восставшими матросами в марте семнадцатого года.

Вдова погибшего адмирала, еще не старая, тучная и болезненная дама, со слезами радости благословила единственную дочь на брак с молодым лейтенантом из хорошей дворянской семьи, приходившейся им, кстати, далекой родней.

Надвигалось что-то совершенно непонятное, громадное и страшное, грозившее разбить в щепки всю их прежнюю такую спокойную и налаженную жизнь, и в преддверии грозных событий ее материнское сердце немного успокаивалось тем, что судьба Леночки, слава Богу, решена, а что дальше – уж это как Бог даст.

После свадьбы молодые отправились к матери Анатолия Викторовича в Ярославль. За несколько дней до их приезда в городе разыгралась трагедия, о которой им рассказал выживший лакей его матери Прохор.

Двадцать восьмого августа по всему городу были развешаны объявления, где всем «буржуйам» предлагалось собрать-

ся на следующий день к полудню в бывшем губернаторском доме для варфоломеевской ночи, чтобы «избить всех до последнего». Прочитав сие страшное распоряжение, вся интеллигенция города бросилась в бега. Мать Анатолия Викторovichа, Антонина Федоровна, проживавшая к тому времени одна с тремя младшими детьми, отправила их вместе с гувернанткой в Николо-Бабаевский монастырь, отпустила всех слуг, сама же не смогла выехать по причине стародавней своей болезни ног. Единственный из слуг, Прохор, не захотел покидать дом и остался разделить судьбу своей барыни, которую глубоко почитал и любил.

Всю ночь Антонина Федоровна молилась и готовилась к смерти. К полудню по городу разнесся дикий вой – толпа в несколько сот человек, одетых в красные рубахи, с испачканными красной краской, как бы кровавыми, руками, вооруженная топорами, палками, ножами, ружьями, бежала к губернаторскому дому. Разгромив пустой дом и не найдя в нем ни одной живой души, толпа еще сильнее взревела и в жажде кровавой расправы побежала дальше, громить следующий.

Прохор встал на пороге и попытался было остановить озверевшую толпу, его отшвырнули в сторону, кто-то походя стукнул его прикладом по голове, и все ринулись по лестнице наверх...

Когда все было кончено, пришедший в себя Прохор поднялся на второй этаж в комнату Антонины Федоровны...

В этом месте своего рассказа он остановился, не в силах

нарисовать увиденную картину, задрожал, и вместо слов из его груди вырвалось не то какое-то бульканье, не то рыдание... Тело его барыни было превращено в кровавое месиво.

Через два дня, когда зверства утихли, стали хоронить невинно убиенных. Таких набралось около тридцати человек. Город словно вымер. Обыватели сидели по домам тихо, как мыши, потрясенные варфоломеевской ночью, устроенной их сродниками и знакомцами. Хоронили в гробовом молчании, и только перепуганные батюшки дрожащими голосами выпевали тысячетнее «со святыми упокой»...

На следующий день Анатолий Викторович с женой поехал на кладбище на могилу матери. Он не плакал, у него только болела голова – он просто не мог вместить произошедшее.

Объявив двум младшим братьям и сестре, что их мать умерла, Анатолий Викторович забрал детей из монастыря, и они все вместе приехали в Петроград.

Между тем голод, холод и разруха в столице становились все ощутимее, большевики – все разнузданнее, наглее и трусливее. Боялись прихода немцев, которых поверженное, оккупированное «товарищами» население ожидало чуть ли не как избавителей. Еще не смеющим поверить в свою легкую удачу победителям всюду мерещилась контрреволюция. Ужесточался террор.

В Петрограде к концу семнадцатого года оставалось еще несколько десятков тысяч офицеров. Большинство из них впоследствии было расстреляно Петерсом и Урицким.

Шабельский с женой, тещей, младшими братьями и сестрой, не дожидаясь катастрофы, выехал из дичающего Петрограда на юг, в Одессу, к родственникам тещи...

Устроив семейство в относительной безопасности, Шабельский отправился на Дон, где в начале восемнадцатого уже собиралось белое воинство под знамена генерала Алексева.

Полковник Шабельский медленно выздоравливал. Он уже давно познакомился с милой, ласковой медсестрой Леночкой Мельниковой, так удивительно напомилавшей ему погибшую жену; даже имя у них было одно. И эта похожесть почему-то странно волновала и притягивала его к ней, словно между ним и Леночкой образовалась некая тайная связь, которую он боялся теперь разрушить.

– Отчего вы не спите, Анатолий Викторович? – Она присела на краешек стула у его постели. – Вас что-то беспокоит?

Он ее ждал. И был счастлив, когда она подходила к нему в свое дежурство. «Господи, какая милая... и этот ее арфический голосок... и как она не похожа на других... Нет, нет, те тоже хорошие, добрые девушки, но... неужели это только потому, что она так напоминает жену?..»

– Нет, милая Леночка, все хорошо, спасибо.

– Тогда спокойной ночи. – Она поднялась со стула и поправила ему одеяло.

– Подождите... Посидите со мной. Если вы свободны, – прибавил полковник.

Она снова покорно села на стул.

– Сколько вам лет, Леночка?

– Двадцать один.

Полковник закрыл глаза.

– Я вам говорил, что вы похожи на мою жену?

– Н-нет... не говорили.

– Такая же белокурая и голубоглазая, как вы. И звали ее тоже Елена.

– А где же она сейчас? – спросила Леночка.

– Умерла. Давно. – И почему-то вдруг отчетливо произнес: – Ее расстреляли вместе с грудным ребенком.

У Леночки расширились глаза.

– Кто расстрелял? – одними губами с ужасом спросила Леночка.

– Красные, – спокойно ответил Шабельский.

И хотя полковник говорил тихо, у нее невольно вырвались слова, которые тысячу раз на день повторяла им с сестрой в воронежских закутках мать:

– Тише! Умоляю вас! Пожалуйста, тише!

Но Анатолий Викторович уже замолчал. Он посмотрел на ее взволнованное лицо и ничего не ответил.

– Но отчего же их расстреляли? – мучительно прошептала Леночка.

Полковник пожал плечами.

– Из-за меня, конечно. Я служил в Добровольческой армии у Деникина.

– Ах! Зачем вы мне это говорите? Это ужасно! Ужасно! – Она вся задрожала, лицо ее покрылось красными пятнами. «Враг! Враг! Враг!» – стучало в висках. Перед ней лежал раненый белогвардеец. Враг. Она невольно закрыла лицо ру-

ками. Потом вдруг прямо посмотрела ему в глаза и твердо сказала:

– Не бойтесь. Я никому об этом не скажу. Честное слово.

– Спасибо, Леночка, – серьезно ответил он. – Только те, кому это нужно знать, всё знают.

– Но как же вы тогда... на свободе? – удивилась Леночка.

– Это война, – сказал Шабельский. – Спасительница наша.

Если бы не война, не лежал бы я тут на белых простынях как простой советский воин и не разговаривал бы сейчас с вами, а валил бы лес в Сибири и общался бы в основном с урками.

– Знаете, что... наша семья тоже... высланная, из Ленинграда, – медленно прошептала Леночка, словно отвечая откровенностью на доверие к ней полковника. – Мы вообще *бывшие*, папа – честнейший человек, врач, был в Первую мировую на фронте, мама – добрая, умная... Все погибли. Отец умер в тридцать шестом, маму арестовали, сестру я потеряла... В школе нас все ненавидели... Я и сейчас не понимаю: за что? Почему?... – Разволновавшись, она замолчала, стараясь сдержать слезы.

Почему?.. Нет, не мог объяснить этой девочке полковник Шабельский, почему это все случилось с ними и с их Родиной, и вместо объяснений вдруг спросил:

– А вы верите в Бога?

– Я?.. – Леночка смутилась. – Не знаю... Я, конечно, крещеная, но я... правда, не знаю. Я ведь комсомолка, нас учили...

– Я знаю, как вас учили! – вдруг резко сказал полковник. И, помолчав, уже спокойнее добавил: – Был такой великий писатель Федор Михайлович Достоевский. Так вот он однажды сказал: русский человек без Бога – дрянь. А он знал, что говорил. Вы ведь, кажется, замужем? – неожиданно спросил Шабельский.

– Да, замужем, – покраснела Леночка.

– И ваш муж, конечно, на фронте?

– Он... да. Только я давно уже от него ничего не получаю... Очень давно... Два года.

– Что ж, это бывает... война.

– Как вы думаете, он, может быть, в плену? – со страхом спросила Леночка.

– Может быть.

– Это ужасно! – почти простонала Леночка.

– И в плену люди выживают, – попробовал утешить ее полковник.

– Ах, нет! Вы не понимаете! Если мой муж в плену, то я... я... как член семьи... снова оказываюсь врагом! Понимаете? Опять!.. А я так надеялась!.. Я так мечтала!.. Быть наконец как все! Понимаете? Как все!

Полковник долго молчал, потом сказал:

– Успокойтесь, Леночка, ваш муж не предатель. Он просто пропал без вести. Это не считается предательством даже по советским законам, это только неизвестность. И вы тоже, Леночка, не враг, слышите?

– А вы? – едва слышно спросила она.

Анатолий Викторович ничего не ответил.

Как странно, Леночка впервые видела бывшего врага советской власти так близко, лицом к лицу, и, самое ужасное, это «лицо» ей почему-то страшно нравилось, хотя и годилось ей в отцы.

Господи, как ей хотелось наконец очиститься от прошлого ее семьи, от проклятого клейма «бывшие», она и замуж-то вышла в девятнадцать лет за Петра Мельникова только потому, что уж он-то был перед советской властью абсолютно чист. Да и мать, прежде чем ее арестовали, всегда говорила им с сестрой: «Девочки, у нас рабочая диктатура. Помните свое происхождение и выходите замуж за рабочих». Она и вышла, помня завет матери, но не успела она, увы, прожив с ним двадцать три дня, ни полюбить, ни привязаться к нему. А теперь муж – неизвестно где: то ли жив, то ли мертв, то ли в плену, то ли без вести пропавший.

Полковник Шабельский не шел у нее из головы. Это невероятно, но она чувствовала к нему почти материнскую нежность. Быть может, оттого, что она выходила его и теперь он поправлялся во многом благодаря ее старательному, любовному уходу. Ей так нравилось его сильное, мужественное лицо, темные, глубокие, задумчивые и, казалось, всезнающие глаза, его редкая, но такая чудесная улыбка, даже морщины на его лице были ей милы, и так хотелось прижаться к нему; когда она представляла себе, как он целует ее, у нее кружи-

лась голова.

Но его жизнь... она же ничегошеньки о нем не знает! Вчера он сказал ей, что служил у белых. Как это ужасно! Нет, разумеется, теперь он все понял! И поплатился за эту ошибку тюрьмой и лагерем. И теперь он, безусловно, наш, советский человек. Воюет в Красной армии, бьет фашистов, не щадя жизни... И потом он сказал, что органы все о нем знают, значит, простили, значит, доверяют теперь... И она, Леночка, конечно же ему доверяет. Как странно спросил он ее о Боге. При чем здесь Бог? Да и есть ли Он? Неужели он верит?.. Конечно, бабушка верила, но она старенькая... И мама тоже... всегда крестилась перед едой и, прежде чем лечь в постель, все чего-то просительно шептала и крестила на ночь девочек и отца. Еще Леночка помнила, как крестили ее младшую сестру в Ленинграде. Как потом все они подошли под благословение к какому-то очень старенькому монаху и тот всех благословил, а особенно ее, Леночку, положив ей руку на голову и пошептав какую-то молитву. И как мама долго потом была счастлива, потому что, говорила она, их благословил какой-то чудный старец.

Но потом, в Воронеже, им с сестрой не разрешали носить крестики в школу. Однажды мама с папой долго об этом спорили. Мама настаивала, а папа говорил, что тогда его выгонят с работы и они все умрут с голоду, и мама согласилась, но долго плакала и говорила, что они предали Христа и что Бог их за это накажет... Вообще-то все так и случилось...

Но почему же, почему он говорит, что русский человек без Бога – дрянь? Мало ли что написал этот Достоевский, которого и в школе-то не проходят. Сама Леночка читала только один его роман, который дал ей отец, «Преступление и наказание», и поняла его так, что эти две вещи настолько связаны, что идут рука об руку одна за другой. Потому так важно не преступать. Отец согласился с ее мыслями, но только сказал, что нет ни одного человека, который в чем-то бы не преступал. Леночка очень удивилась и спросила, что же преступал отец, раз он говорит, что все преступают? Он ничего не ответил, сказал только, что много раз преступал и об этом они поговорят, когда Леночка вырастет. Не привелось...

А сколько ей приходилось видеть хороших людей, и при том атеистов. Да вот взять хотя бы Ивана Федоровича, их главного врача, он такой замечательный, и, кроме того... кроме того, он хорошо знал по Петербургу доктора Захарьина, Леночкиного отца. С ним можно было говорить обо всем, он свой...

В кабинете хирурга горел свет, Леночка постучала.

– Можно, Иван Федорович?

– А, Леночка! Заходи. Заходи, милая. Ну, как там у тебя, все в порядке?

– У капитана Машкова температура тридцать девять и семь. Я попросила Зою подежурить пока. А Анатолий Викторович сегодня уже вставал! – радостно прибавила Леночка.

– Ну, ну... – посветлел доктор. – Это все ты виновата, синеглазая. – Он улыбнулся.

– Ну что вы, при чем здесь я? – вспыхнула Леночка.

– Ладно, ладно, – примирительно сказал доктор. – Садись-ка пить чай.

Он налил Леночке стакан горячего чая из железного чайника, пододвинул сахарницу.

– Угощайся. Ночь длинная.

– Спасибо, Иван Федорович. Знаете, что я хотела у вас спросить? Только вы никому, пожалуйста, не говорите и не удивляйтесь...

– Да уж, наверное, не удивлюсь, – усмехнулся Иван Федорович. – Спрашивай.

– Как вы думаете... – Леночка глубоко вздохнула и, словно прыгая в холодную воду, спросила: – Есть Бог или нет?

Иван Федорович быстро взглянул на нее и потянулся за папиросой, не спеша закурил.

– Есть ли Бог, Леночка? – Он затаился, выпустил дым, помолчал. – Да если нет Бога, тогда вся наша человечья жизнь – один сплошной, нелепый балаган. Абсурд и бессмысленность. Да-с. Именно так.

– Значит, и вы верите? – тихо спросила Леночка.

– Верю, Леночка, конечно, верю. И в Бога, и в бессмертие души. Верю, что все наши страдания не напрасны. И что все имеет смысл. Каждая жизнь, каждый поступок, каждая наша мысль.

– Но почему же в нашей самой передовой стране атеизм? – еще тише спросила Леночка.

– Для того чтобы ответить тебе на этот вопрос, Леночка, нужно, чтобы ты еще немного подросла. И поумнела. Понятно?

– Понятно, – сказала Леночка и про себя подумала: «Опять – подрасти и поумней. Сколько же мне еще расти и умнеть? А если не успею?»

– Вот и хорошо. Иди с Богом к капитану Машкову и, если что, зови.

Леночка ушла ошеломленная. Два самых главных для нее человека – один, которого она, сама еще не сознавая, уже любила, другой, которого безмерно уважала, как отца, – сказали ей одно и то же: Бог есть. И тогда она дерзнула попросить. Она сказала в сердце своем, что, если Бог есть, пусть полковник Шабельский ее полюбит...

О романе полковника знали или догадывались все в госпитале. К военным романам относились снисходительно. Все понимали: люди ежедневно рискуют жизнью, чего уж там. Были, конечно, и легковесные, кратковременные связи по принципу: хоть день, да мой. Но роману Леночки и Шабельского почему-то все сочувствовали, может, потому что всем нравился молчаливый, строгий полковник с какой-то затаенной скорбью в глазах, нравилась миловидная, беленькая Леночка (Белочка, как ее многие называли), сирота, а муж пропал без вести. Кто знает сердце человеческое, отчего

оно сочувствует одному и за то же самое осуждает другого? Во всяком случае, когда через несколько месяцев после выписки полковника оказалось, что Леночка беременна, она не заметила на себе ни одного косо́го, недружелюбного взгляда, напротив, каждый старался ее подбодрить, чем-то одарить или просто сказать ласковое, доброе слово. Иван же Федорович, узнав о ее положении, распорядился отправить ее в тыловой госпиталь, пообещав непременно стать крестным родившегося младенца, если, разумеется, останется жив.

Полковник Шабельский оказался в плену в самом конце сорок четвертого года. Уже всем было ясно, кто побеждает в войне; немцы дрались отчаянно, но русский солдат сумел превзойти тот нравственный рубеж, за которым открывался широкий простор спокойной, уверенной в себе силы и какого-то духовного веселья (так хорошо видного, например, в картине Сурикова «Переход Суворова через Альпы» или в «Теркине»), которое и делает нашу армию непобедимой.

За годы войны Анатолий Викторович очень хорошо сумел почувствовать этот русский дух, смиренный и мужественный одновременно, созидавшийся тысячу лет Церковью и государством, начиная от святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба – сыновей крестителя Руси святого князя Владимира – и кончая безымянными атеистами, закрывавшими грудью амбразуры, не ведавшими по простоте, что исполняют тем самым величайшую заповедь Христа о любви.

Не то чтобы Шабельский не знал этого духа раньше, по прошлой войне, но после русской трагедии семнадцатого года, когда темные силы выпустили на волю бесов русской (нерусской?) революции, после всего, что случилось со страной и народом за двадцать три довоенных года, ему казалось, что произошедшая порча национального характера приняла размеры необратимые.

Но вот тот же русский мужик с крестом или без креста (но за кого было еще кому помолиться – матери, жене, отцу), не отлынивая, как и встарь, взял ружье и пошел на тяжелую мужскую работу – воевать, не обременяя себя лишними вопросами: а стоит ли проливать кровь за этот режим, за эту власть, за этого вождя? Сталинское «братья и сестры» решило все. Генетически православная память народа перед лицом нового нашествия отпускала грехи временному вождю Третьего Рима, ибо знала: и грозные вожди держат в свой час ответ перед Богом, а четвертому Риму не бывать.

И шли, и умирали... за Родину, за Сталина? В данном историческом контексте это были синонимы. Хотелось это кому-нибудь или не хотелось, но для большинства вождь олицетворял тогда Россию, а выше России не было для них ничего. Ибо из традиционной русской формулы «за веру, царя и отечество» вера была отменена, царь убит, и память о нем поругана и только востребованное небывалой войной, вырванное из тлена небытия, осмеиваемое и обругиваемое еще совсем недавно «отечество» вспоминалось теперь разрешенной, незыблемой, неразмытой, неизменной ценностью. Отечество, земля, дом.

«Братья и сестры» не подкачали. Все: и *бывшие*, и каэры (контрреволюционеры), и кулаки стали нужны советской власти, стали временно родными, братьями и сестрами, а за такое признание Родины любой каэровец, белобандит и бывший готов был зубами грызть землю, доказывая свою пре-

данность стране. Умереть, защищая Родину, – какая смерть могла быть слаще для русского, тем более для русского, обремененного виной, непощением государства!

Анатолий Викторович в числе многих лагерников написал заявление об отправке на фронт. Его простили. Ему, бывшему царскому офицеру, деникинцу, дали роту в штрафном батальоне. Через год он стал капитаном, еще через год – полковником. И вот теперь – страшный, позорный плен, из которого только один выход – расстрел: немцами или своими.

Лагерь, куда попал полковник Шабельский и где находилось до шестисот советских офицеров, волновался. Ожидался приезд представителей Русской освободительной армии под командованием генерала Власова. Говорили, будут предлагать вступить в РОА. И многие, большинство, понимая всю безвыходность своего «предательского» положения «изменников Родины», готовы были написать заявление о желании вступить во власовскую армию.

Власовская армия... Это была еще одна трагедия для всех, кто не смирился с утратой исторической национальной России, кто не смог забыть и простить гибель Русского государства, надругательства над ее святынями, насилия над народной совестью, над самим его бытием, кто готов был умереть в борьбе за освобождение Родины от большевизма. И в этой борьбе страшный враг оказывался временным союзником.

– Товарищи офицеры! Друзья! Я прибыл к вам по поручению генерала Власова, чтобы сообщить вам о создании Русской освободительной армии и предложить вам вступить в ее ряды для освобождения нашей Родины от большевистской тирании. – Приехавший русский, немолодой, лет пятидесяти, офицер из старых эмигрантов, обращавшийся к советским пленным, был одет в серую немецкую форму с русской

нашивкой на левом рукаве. На ней был изображен щит с синим Андреевским крестом на белом поле и буквами РОА.

– Вы хорошо знаете этого прославившегося в боях под Киевом и Москвой генерала, ныне возглавившего освободительную армию для борьбы со сталинской диктатурой. Я, бывший царский офицер, воевал в Первую мировую войну и участвовал в боях на стороне Добровольческой армии под командованием Деникина и Врангеля. Во время Гражданской войны мы воевали друг против друга, но каждый из нас защищал правду и справедливость так, как он ее понимал. Мы проиграли войну и вынуждены были покинуть Родину, но и вы ее проиграли. Большевики обманули вас, и вместо процветающей России вы получили невиданную тиранию, голод и разорение. Я предлагаю вам забыть прошлые обиды и как братья, как дети одной матери – России – подняться на освобождение нашего народа от постигшего его несчастья. Не против русского народа зовем мы вас, но за его освобождение от большевистской диктатуры, поработившей наше Отечество!

Друзья! Четырнадцатого ноября в Праге был провозглашен Комитет освобождения народов России со статусом независимого русского правительства. Мы не подчиняемся Гитлеру и никогда не согласимся на какое бы то ни было ущемление наших национальных прав ни касательно наших границ, ни касательно нашего суверенного политического и государственного устройства. Мы являемся независимыми и

равными союзниками в борьбе против сталинской тирании. Наш манифест призывает к объединению всех национальных сил в России и возвращению всем коренным народам, проживающим на территории нашего государства, прав, завоеванных ими в феврале семнадцатого года. А также к прекращению войны с Германией и заключению с ней почетного мира. Мы призываем к созданию новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров. Мы получили уже сотни тысяч писем от военнопленных, островцев, беженцев с заявлениями о приеме в РОА и приступили непосредственно к формированию русских дивизий под общим руководством генерала Власова. Многие спрашивают нас: неужели мы собираемся воевать с нашими братьями? Ведь это снова гражданская война. Нет, господа, мы убеждены, что, как только наш народ узнает о реальном существовании независимого национального правительства и Русской освободительной армии, на нашу сторону перейдут все честные и преданные солдаты и офицеры на Родине, так же как они перешли к нам здесь, на германской земле!..

Анатолий Викторович уже давно не слышал того, что говорил агитатор. Он смотрел и боялся поверить своим глазам: агитировавший пожилой офицер был его родной старший брат Александр, которому удалось в двадцатом году отплыть с остатками врангелевского войска из Севастополя.

Он подошел совсем близко к импровизированной трибуне и, не отрываясь, в упор смотрел на брата, не замечая соб-

ственных слез.

Почувствовав на себе упорный взгляд, Александр Викторович обернулся к пленному офицеру.

– Вы что-то хотите сказать? – спросил он.

Но Анатолий Викторович молчал и только смотрел на брата и плакал.

Вечером, когда шок от узнавания, перешедший в неопи-сую радость встречи, постепенно прошел, они еще долго, потрясенные, не в силах были разговаривать связно. Они сидели вдвоем в кабинете начальника лагеря, решая главный теперь вопрос: как быть Анатолию Викторовичу в этих новых, неожиданных обстоятельствах?

– Ты пойми, – в десятый раз повторял Александр, – мы не за Гитлера и не за Сталина, мы – третья сила, которая временно – слышишь? – использует союз с Гитлером, чтобы с его помощью свергнуть большевистский режим и затем, опираясь на здоровые национальные силы...

– А тебе не кажется, что это не вы используете Гитлера, а он вас?

– У Гитлера много врагов. Многие представители аристократии и высшего генералитета считают его язычником и безумцем, ведущим страну к гибели. Эти люди, так же как и мы, заинтересованы в создании Русской освободительной армии. Мы вместе боремся за очищение наших стран и от большевизма, и от фашизма.

– Нет, Саша, все уже поздно. Война кончается, и победит

Сталин. А победителей, как известно...

– Но западные демократии не заинтересованы в победе Сталина и, соответственно, в экспансии большевизма в Европу.

– Больше всего они не заинтересованы в существовании свободной и сильной России. С большевизмом у себя дома они справятся.

– Я тебя не понимаю... Бог и история дают нам шанс. Мы столько лет ждали этой возможности выступить против большевиков. Неужели мы должны теперь сидеть сложа руки и наблюдать, как после победы окрепнет тирания, как распространит она свои щупальца и на свободные страны!

– Все очень изменилось, Саша. Народ принял эту власть. По крайней мере, большинство. Понимаешь? Это странно, дико, абсурдно, но это так. Народ считает эту власть своей и законной. Он не пойдет за вами. Нет никакой третьей силы. В сознании людей есть только две силы: фашисты и антифашисты, то есть мы, русские. И когда народ увидит на вас немецкую форму, он не станет разбираться в тонкостях, какая вы сила, первая или третья («мы против Сталина, но за Россию»), он просто ничтоже сумняшеся прикончит фашистского гада и будет прав. А разжигать новую гражданскую войну – нет уж, уволь. Уж лучше Сталин, чем новое братоубийство. Сталин не вечен. И потом, неужели опыта Гражданской войны недостаточно, чтобы понять очень простую вещь, понятую еще Александром Третьим? У России не

было и нет союзников, никто не будет умирать за русское дело. И вмешательство алчных, боящихся и ненавидящих нас союзников ничего не даст и никого не спасет. Нет, Саша, я убежден: либо народ сам переварит и изживет большевизм изнутри и вернется к своей исторической духовной идентичности, либо... либо Россия уготовала себе судьбу нового Израиля.

– Что ты имеешь в виду?

– Богоотступничество. Да, мы – дикари, мы – варвары. Но пока мы были со Христом, с нами был Бог. И это поважнее всяческих демократий и цивилизованностей. Единственная по-настоящему беда России не Сталин, а то, что народ перестал жить с Богом.

– Я с этим не спору. Вернуть веру народу мы не в силах. Но мы в силах бороться за те условия, при которых вера не будет загоняться в подполье и совесть народа не будут заколачивать гвоздями в гроб.

– У нас с тобой разный опыт, Саша. Ты четверть века не был в России, и думаю, вы все живете в иллюзиях.

– И генерал Власов – в иллюзиях? И генерал Краснов? И десятки советских генералов, перешедших на нашу сторону? И сотни тысяч советских солдат и офицеров, участвующих в нашей борьбе, – все в иллюзиях?

– Если вы полагаете, что со Сталиным можно справиться, прибегнув к помощи немцев, то да.

– Ну что ж... значит, мы с тобой теперь по разные стороны

баррикад...

– Нет, не по разные. Только я не верю в вашу стратегию, считаю ее бесперспективной. Если бы немцы позволили генералу Власову создать русскую армию на полтора-два года раньше, когда наши солдаты, необученные, кое-как вооруженные, бежали от немцев и сотнями тысяч сдавались в плен, а на оккупированных территориях стихийно разворачивалась борьба народов против большевиков... то, возможно, вы имели бы тогда шанс... Тогда! Но ведь тогда немцы не позволили создать русскую армию! И – почему? Да потому, что им, так же как и всему остальному миру, начхать, кто там и как правит русскими – Ленин, Сталин, Троцкий, Власов... Россия нужна миру только как колония! И русские – как рабы. Всё!.. Ну, в самом деле, много у нас территории, много! «Земля у нас большая, а порядка в ней нет!» О Господи, это ведь когда еще русский народ про себя так сказал! Так вот, подальше нас от Европы, от цивилизации, от морей, на север, к Ледовитому океану, к чукчам!.. Теперь они, видите ли, наконец позволили сформироваться одной власовской дивизии. Теперь, в конце войны, когда их дело проиграно! Спасибо! И ты полагаешь, что русский народ после всего, что с нами сделал Гитлер, способен вас услышать? Да у него в ушах играет только одна теперь музыка: победа! И разве ты не понимаешь, что значит в условиях мировой войны навязать войну гражданскую? Мы это уже проходили. С господином Ульяновым. Повторять этот опыт – значит окончательно

погубить страну. Нет, это невозможно. Невозможно.

– Жаль. Жаль, брат, что ты не хочешь быть с нами. Что ты не веришь в белую идею.

– Разве Власов монархист? – быстро спросил Анатолий Викторович.

– Нет, он, конечно, не монархист, но...

– Значит, февралист.

– Пожалуй.

– Февраль я ненавижу еще сильнее, чем Октябрь.

– Как бы там ни было, Февраль открыл дорогу к демократии, и не его вина...

– Я был на фронте в феврале! – закричал вдруг Анатолий Викторович, и глаз у него задергался. – Я видел, как развращенные полки самовольно уходили с позиций, бросая оружие, открывая фронт, поднимая на штыки своих же офицеров, пытавшихся их остановить! Тех боевых офицеров, которые еще вчера водили их в атаки и умирали так же мужественно и бесстрашно, как они! Не хочу!

– Успокойся, Анатолий. Я тоже был на фронте и все это видел.

– Да! Ты видел! Так скажи, какая армия в мире может воевать, не побеждать, а просто воевать путем просьб, уговоров и убеждений, к чему надрывно призывал один из ваших главных февральских погубителей России Керенский? «Господа солдаты, не изволите ли выполнить ваш гражданский долг перед отечеством и революцией?» И господа солдаты тех са-

мых армий, что в брусиловском наступлении шестнадцатого года взяли полмиллиона пленных, в июне семнадцатого позорно бежали, сопровождая свой бег насилиями, грабежами и убийствами, грозя устроить варфоломеевскую ночь офицерам! И устраивали, подстрекаемые невесть откуда взявшимися агитаторами погрома России!

– Армию развалили большевики, – твердо сказал Александр Викторович.

– Э не-ет!.. Армию развалили другие... Армию развратил и испохабил Февраль! И гнить, и разлагаться армия начала в феврале! А большевики, как размножившиеся паразиты, лишь догрызли ее гниющее тело. Когда армию довели до светлых дней революции, тут-то в нее и влили смертельный яд! Те, кому наша армия казалась опасной, а наша страна встала поперек горла. Те, кто стоял за Февралем!

– Но весь цивилизованный мир...

– Плевать я хотел на ваш цивилизованный мир! Весь ваш цивилизованный мир смотрел пустыми глазами, когда корчилась и подыхала в муках от красного террора, голода и тифа Россия! Отчего же тогда вы не протянули ей руку помощи? Отчего не пришли на помощь белой армии? Отчего не провозгласили крестовый поход против красных мерзавцев? Отчего не объявили бойкот Ленину и Троцкому, захватившим власть? Отчего же тогда вы признали большевиков? Только оттого, что торговать можно и с людоедами, как выразился ваш лондонский демократ Ллойд Джордж?! Или

чтобы уж раз и навсегда покончить с великой Россией? Чтоб провалилась она в преисподнюю и не торчала больше бельмом в глазу у вашей цивилизованной Европы!

– Успокойся. Успокойся, Анатолий. Почему «вы», «ваша Европа»? Она такая же моя, как и твоя.

– Тогда, тогда все началось! В Феврале! Когда мы не защитили царя! Разве ты не видишь, тогда все пошло под откос! Сразу! И что мы сделали, чтобы остановить? Да ничего! Мы нацепили красные банты и с лузганьем семечек под духовые оркестры пошли громить Русь! Ах какой был погром! История не видывала такого погрома собственной страны и лучших слоев ее населения! В полгода разгромили все, что созидалось тысячу лет!

– Послушай, я это и без тебя знаю...

– Сначала ждали спасения от Керенского, потом от Корнилова, потом от Деникина с Колчаком, наконец от Врангеля. И что же? Бог попустил нам всем поражение! Тебе не приходило в голову, за что?

– За что? – спросил Александр Викторович. – Разве мы не любили, не жертвовали всем для России?

– Жертвовали... – повторил Анатолий Викторович. – Конечно. Но после главного жертвоприношения...

– Ты имеешь в виду...

– Да, да! – раздраженно продолжал Анатолий Викторович. – Жертва царя-мученика сделала все наши жертвы ненужными!.. Вернее, нужными, но уже не для спасения

страны, а только себя лично, иначе позор бесчестья покрыл бы навсегда наши головы и потомки прокляли бы нас навек!.. И сразу началась эта вековая наша беда, сдерживаемая исключительно самодержавием, – расхищение государственной власти. Временное правительство, Советы, комитеты, депутаты, большевики... Сначала поменяли самодержавие православное на самодержавие революционное, потом большевистское, потом сталинское... Какое следующее? Демократское?.. Нет, Саша, нам нужен царь! И никакая цивилизованная демократия нам не поможет. Только царь сможет консолидировать, спаять в одно целое, в один мощный кулак. Самодержавный царь и свободная Православная Церковь. Нам нужен царь, а не генерал Власов.

– У вас есть царь. Некоронованный царь Иосиф Первый. Вероятно, звериным своим чутьем он понял эту подспудную народную тоску по царю. Причем по царю грозному, и чем грознее, чем безнаказаннее он будет громить и крошить своих подданных, тем большей любви он от них добьется.

– Да, Иосиф Первый... Знаешь, кто такой Иосиф Сталин? Бич Божий, через которого излился Божий гнев на русский народ за богоотступничество и цареубийство.

– Ты так думаешь? «Несть власть аще не от Бога»?

– Да, я так думаю. Бог попустил эту власть в наказание за наши грехи. И не со Сталиным нужно бороться, а каяться и возвращаться ко Христу. Тогда Бог и Сталина управит.

– По-моему, ты еще в бóльших иллюзиях, чем мы.

– Хотел бы я посмотреть, как эти пятьсот семьдесят боевых офицеров, записавшихся сегодня добровольцами, станут стрелять в своих братьев... Даже если эти братья воюют за Сталина. Хотя на самом деле они воюют за Россию. И ты это знаешь не хуже меня.

– Мы тоже воюем за Россию. Так же, как в восемнадцатом и двадцатом. Мы все воюем за Россию. Но только – за какую?! – Александр Викторович взглянул на часы. – Увы... Мне пора. Не знаю, увидимся ли еще... Ты... женат?

– Там, где я находился, не женятся...

– Прости... Если останемся живы после войны...

– Я на это не надеюсь.

– Во всяком случае, постараемся не потеряться.

Помолчали. Оба уже заранее чувствуя, что скорее всего они не только потеряются, но что это – их последняя встреча.

– Я должен тебе признаться, Саша, – вдруг тихо сказал Анатолий Викторович, и глаза его потеплели. – В прошлом году в госпитале я встретил девушку, удивительно похожую на Елену. Ее и зовут так же. Недавно она родила сына Юрия. Но фамилия у него будет другая. Перед самой войной она вышла замуж за некоего Петра Мельникова... Он считается без вести пропавшим, вероятно, погиб или в плену... Тебе не встречалось это имя?

Александр Викторович покачал головой.

– Так вот, моего сына будут звать Юрий Петрович Мельников. Запомни. На всякий случай. Кто знает, что будет по-

сле войны.

– Запомню. Но... я бы очень хотел помочь тебе выбраться отсюда.

– Зачем? Мы ведь уже обо всем переговорили.

– Если не хочешь служить в армии, есть гражданские должности, и я бы мог похлопотать...

– Нет, Саша, нет.

– Послушай, Анатолий, как бы ни закончилась война, тебе нужно постараться остаться здесь. Ты же лучше меня знаешь, что тебя ждет на Родине.

– На Родине меня ждет сын.

– Надеешься, они оценят твою верность? Простят?

– Конечно, нет. Прощать не их стиль. Да я ни в чем перед ними и не виноват. Хотя лагерья мне, конечно, не избежать, разве что произойдет чудо и Савл превратится в Павла. Но... все когда-то кончается. И сроки, и жизнь вождей.

– К сожалению, наша жизнь тоже.

– Да. Наша – в первую очередь. Прощай, брат. Желаю победы.

Они обнялись и простились. Навсегда.

Александр Викторович Шабельский, подполковник первой дивизии Русской освободительной армии, под командованием генерал-майора Буняченко принимавший участие шестого – седьмого мая сорок пятого года в боях за освобождение Праги, был расстрелян солдатами СМЕРШ десятого мая в госпитале вместе с сотнями других раненых солдат и офицеров власовской армии, освобождавших чехословацкую столицу от немцев.

Анатолий Викторович Шабельский был освобожден из немецкого лагеря американскими войсками, что считалось для русских военнопленных отягчающим вину обстоятельством. Из немецкого лагеря его перевезли в русский проверочно-фильтрационный, и каждый из оказавшихся в нем обязан был доказать свою невиновность в сотрудничестве с немцами. Обвинение в предательстве Родины для военнопленных не отменялось, и победители в связи с победой автоматически амнистированию не подлежали, сотрудничество же с немцами являлось дополнительной криминальной статьей и каралось расстрелом или, в лучшем случае, каторгой.

Анатолия Викторовича допрашивал лысый, маленького роста, с усталыми глазами немолодой майор НКВД.

– Расскажите, как вы попали в плен? – спросил он отры-

висто, не глядя на Шабельского.

– Я был контужен, очнулся уже в плену.

– Кто может подтвердить обстоятельства вашего пленения?

Шабельский задумался.

– Записываю: свидетелей нет.

– Но, позвольте...

– Я вас слушаю.

– Я потерял сознание и не могу знать, как меня взяли в плен и кто при этом присутствовал.

– Я уже это записал, свидетелей не имеется. Кто может подтвердить в лагере ваше сотрудничество с немцами?

– Я с немцами не сотрудничал...

– Кто может это подтвердить?

– Но... никто не может подтвердить, что я сотрудничал.

– Меня интересуют свидетели. Люди, фамилии.

– Товарищ майор, даю вам слово офицера, что не нарушал присяги, никого не предавал и не сотрудничал с немцами. Но я не понимаю, как могу это вам доказать.

– Гражданин Шабельский, с вашей биографией, – майор постучал папкой с его делом по столу, – я бы посоветовал вам прямо отвечать на поставленные вопросы. Повторяю, кто может подтвердить вашу невиновность?

– Не знаю... надеюсь, любой из тех, с кем я находился в лагере.

– Записываю: свидетелей, подтверждающих ваше неува-

стие в сотрудничестве с немцами, не имеется.

– Ну хорошо, спросите, например, капитана Федотова или... майора Лебедева...

– Почему именно их?

– Вы просите назвать фамилии.

– Почему вы назвали именно эти фамилии?

– Я близко общался с этими офицерами и могу, в свою очередь, засвидетельствовать их высокий моральный дух, любовь к Родине и...

– Расскажите, как вы были завербованы во власовскую армию?

– Я не был завербован во власовскую армию.

– У вас есть родственники за границей? – спросил вдруг лысый майор и впервые в упор посмотрел на Шабельского.

Он не мог солгать, у него бы не получилось, да и, если они задают этот вопрос, значит, уже знают. И он ответил:

– Да. У меня есть брат Александр Викторович Шабельский, он живет в Париже.

– Вам известно, что ваш брат сотрудничал с Власовым и занимался вербовкой советских офицеров в так называемую Русскую освободительную армию?

– Да, мне это известно.

– Как давно вы сотрудничаете с немцами? – снова спросил майор, и глаза его, утратив усталость, загорелись беспощадным огнем.

– Я уже отвечал вам...

– Хватит играть в кошки-мышки! – рявкнул майор и изо всех сил стукнул кулаком по столу. – Кто еще из военнопленных был завербован вместе с вами? Имейте в виду, нам все известно! На вас имеются свидетельские показания, в том числе и названного вами майора Лебедева, о вашей фашистской деятельности в немецком лагере, и только честное признание с вашей стороны может смягчить вашу участь! Предупреждаю, если будете заперяться, вам и вашим близким грозит высшая мера наказания!

– У меня нет близких, – медленно сказал смертельно побелевший Анатолий Викторович. – Моя семья была... погибла в двадцатом году. У меня никого нет, – сказал он как можно спокойнее.

– А у нас другие сведения! – ввинчивая свой стальной взгляд в Шабельского, продолжал пытку майор.

«Врет, – каким-то неведомым, шестым чувством понял Анатолий Викторович. – Никаких у них нет сведений, все врет. На пушку берете, товарищ майор». Он вдруг успокоился, почти развеселился.

– Улыбайтесь, улыбайтесь! Скоро вам будет не до улыбок! Фашистская шкура! Продажная собака! Немецкая гадина! – Майор зашелся в истерике.

Анатолий Викторович понял, что доказать свою невиновность майору, жаждавшему его расстрелять, так же невозможно, как невозможно лето превратить в зиму и наоборот, и перестал отвечать на его вопросы. Тот долго еще кричал,

грозил и исходил пеной, но полковник Шабельский уже от-  
решился от надежд и предал себя в волю Божию.

Их повели на расстрел рано утром: его, капитана Федо-  
това, майора Лебедева и двух солдат – одного, молоденько-  
го, совсем мальчишку, все время глупо улыбавшегося и не  
верившего, по всей вероятности, в то, что должно случиться-  
ся через несколько минут, и другого, пожилого и угрюмо-  
го, глядевшего себе под ноги, на драные сапоги с высунутым  
большим пальцем... Вывели за ворота лагеря в жиденский  
перелесок к оврагу. Два смершевца уже докапывали неглу-  
бокую яму.

«Значит, здесь наша братская могила, – думал полков-  
ник. – И никто никогда не узнает, где будут покоиться кости  
последних жертв этой войны. Если бы последних, если бы не  
напрасных!..»

Нет, он не роптал на судьбу, она подарила ему лишние  
четверть века: ведь такие, как он, не должны были жить,  
такие, как он, защищавшие другую Россию, полегли давно,  
в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом... Что ж с то-  
го, что эти подаренные ему двадцать пять лет жизни и жиз-  
нью-то назвать нельзя? Время рождения, как и родителей, не  
выбирают...

Им велели стать спиной к яме. Молоденький солдатик  
все еще улыбался, озираясь по сторонам, и с недоумени-  
ем поглядывал васильковыми своими глазами на хмуро-бес-  
страстных конвоиров, будто все происходившее с ним было

во сне.

Шабельский переглянулся с Лебедевым и Федотовым, и они молча попрощались взглядами.

Конвой вскинул ружья. «Господи, сколько же они постреляли своих, – подумал Анатолий Викторович без гнева, – прости их, Господи». Он не думал о сыне, он не думал о той, давно погибшей семье, он взглянул в небо на медленно всходявшее, набиравшее огненную силу солнце. «Будет жарко», – успел подумать Шабельский, и в этом огненном, наплывшем на него диске ему снова померещилось лицо той, которая легко и радостно отдала ему свою юную любовь и обрекла себя на вечное ожидание с неведомым ему сыном.

## 10

Прошел год после смерти Сталина. Юра с мамой жили по-прежнему в Воронеже, ему исполнилось уже десять лет.

Однажды летом он прибежал домой возбужденный и с порога выпалил.

– Мама, мам! Там тебя какой-то дяденька спрашивает!

– Какой дяденька? – разогнулась над корытом с бельем Елена.

– Не знаю. – Глаза его сгорали от любопытства. – В шинели!..

Сердце ее упало и заколотилось. Она вытерла мыльные руки о фартук и неподвижно застыла, слушая, как неторопливые мужские шаги гулко отпечатываются по долгому коридору.

Вошел... нет, вошел не тот, кого она, несмотря ни на что, продолжала ждать вот уже десять лет. Вошедший мужчина был невысок ростом, коренаст и почти лыс, с ввалившимися желтоватыми глазами, худой и небритый, в солдатской шинели.

– Не узнаёшь, хозяйка? – спросил он, улыбнувшись беззубым ртом.

Она долго смотрела на него с недоумением и страхом и наконец, уже узнавая, медленно выдохнула, заливаясь краской.

– П-петр!..

– А я тебя сразу признал, – сказал Петр Мельников как-то игриво-весело, скидывая с плеч вещевой мешок. – Мало изменилась.

– Юра, – повернулась она к мальчику, во все глаза глядевшего на вошедшего. – Беги на улицу, сынок, поиграй... Ну, я кому сказала!.. И дверь закрой! – приказала Елена.

Юра нехотя побрел к порогу. Он еще раз бросил шустрый взгляд на страшного незнакомца в шинели и тихонько прикрыл за собой дверь. Потом постоял немного под дверью, но, вспомнив, что подслушивать нехорошо, к тому же все равно ничего не слышно, побежал на улицу рассказывать другу Валерке про их необычного гостя.

Петр и Елена стояли и глядели друг на друга: неожиданный муж и негаданно встреченная жена, она – с мучкой и страхом, он – ощетиливаясь насмешкой, пока она, не справившись с нахлынувшим на нее непонятным ужасом, наконец не сказала:

– П-проходи, Петр... садись... Есть хочешь? Я сейчас! – Она отодвинула корыто к стене и быстро подтерла пол.

Петр не спеша прошел в комнату, сел, вытащил беломор, закурил. Она молча стала собирать на стол.

– Я ведь не знал, что ты здесь живешь, по-прежнему... – начал он неторопливо. – Так, заехал на всякий случай поглядеть. Мало ли, думаю... А ты, оказывается, никуда и не уезжала...

– Уезжала... – тихо ответила Елена. – Я на фронте была... медсестрой...

– Ясно. Пацана на фронте, стало быть, нажила.

Елена не ответила.

– Да я не в осуждение, не думай. Чего там... Так, для интереса спросил. Война – она всем жизнь спортила... Я вот сразу в сорок первом к немцам попал в окружение... Голыми на фронт гнали... одно ружье на троих... Да ладно, чего там вспоминать... победили и – баста! Победителей не судят. А как, сколько кого положили – это, брат, не нашего ума. Главное, до Берлина дошли. И флаг водрузили.

– Ты поешь, – сказала Елена, пододвигая ему тарелку с вареной картошкой. – Остыла только...

Петр загасил недокуренную беломорину, достал поллитровку.

– Давай, хозяйка, стаканчики. За встречу.

Елена подала два стакана. Петр разлил водку.

– Да ты чего стоишь? Сядь. Уважь мужа. – Он усмехнулся. – Муж объелся груш.

Елена продолжала стоять как вкопанная. Чокнулись. Петр опрокинул полстакана, налил еще. Снова закурил.

– Ты поешь, – снова сказала Елена.

– Успеется.

– Ты... оттуда? – едва слышно прошептала Елена.

– Откуда «оттуда»? Я два раза «оттуда». Сперва в немецких «оттуда», потом в советских «отсюда».

– Тише... – испуганно проговорила Елена. – У нас тут...

– Что? Стукачи? – Он засмеялся, обнажая беззубый рот. –

Клал я на них!..

– Петр... я тебя умоляю!.. Нам здесь жить... – снова зашептала Елена.

– Да ладно. Понял. Молчу. Нас там таких, как я – «За Родину, за Сталина», – знаешь, сколько посдыхало? У-у!.. Ни хрена вы не знаете... и знать не хотите... То-то, я смотрю, полстраны проехал, мужиков нет, кругом одни бабы горбчатся... Да... А в Германии-то как нас освобождали – закружилось энкавэдэшное офицерье вороньем... «Родина вас ждет! Родина без вас скучает!..» Вот мы, дураки, рты-то и пораззявили. Те, что поумнее, всеми правдами-неправдами кто в Канаду, кто в Аргентину, кто в Австралию... Ну, а мы, мужичье сермяжное, как услышали, что Родина нас ждет, так прямиком в телячьих вагонах из Европы – да на родную Колыму и покатили! Чтоб Родина, значит, без нас не соскучала. Чтоб, значит, уж всех, кем война подавилась, родная Колыма сожрала... Видать, на то мы и родились, а? Чтоб Родину как следует унавозить. А чё?.. Бабы еще нарожают!.. Им, бабам-то, все одно... навидался я вашего брата...

Елена сидела ни жива ни мертва. Она почти не слышала того, что говорил Петр. В мозгу ее сверлила, разламывая голову, одна мысль: неужели он приехал к ней насовсем? Неужели он останется с ними жить? А что? Законный муж. Разве она посмеет его выгнать? Неужели этот чужой, грубый,

страшный человек ляжет теперь с ней в одну постель? А как же Юрочка? Что она ему скажет? Что это его отец?.. Нет, нет, нет, это невозможно, только не это! Господи, помоги!..

Петр встал, застегнул шинель.

– Ты... разве тебе не жарко? – в замешательстве спросила Елена.

Петр ничего не ответил, взялся за вещевой мешок.

– Ты что, уходишь? – еще не веря своему скорому счастью, сказала Елена.

– Ухожу, – ответил Петр.

– Что ж ты, даже не поел... – Ей стало вдруг его нестерпимо жаль. Так жаль! Глаза ее налились слезами. – Куда ж ты... теперь?

– На кудыкину гору.

– Постой...

Петр остановился. Но Елена молчала, не зная, что сказать. Он тоже молчал. Ждал. О Господи, да предложи она ему сейчас остаться, потом ведь с ее мягким характером не отделаешься ни за что! Нет, лучше уж сразу, без сентиментальностей, покончить одним махом.

– Ничё! Ты меня не жалея, – сказал наконец понимающе Петр. – Не пропаду. Погуляю чуток, да и обратно покачу, на Колыму. Никто меня нигде не ждет, вольный казак, а там – братишки, кто в могилах, а кого и земля еще носит. Ничё!..

– Петя... голубчик... – взмолилась вдруг Елена. – А тебе не встречался где-нибудь случайно... ну, в плену или... в ла-

гере... один человек, Анатолий Викторович Шабельский... полковник? – заливаясь краской и задыхаясь от волнения, прошептала Елена.

Петр усмехнулся.

– У нас там ни полковников, ни генералов не было. Одна лагерная пыль. Ну, бывай.

Он резко повернулся и вышел.

И только после того как затихли его шаги, Елена медленно опустилась на табуретку и зарыдала.

Подкараулив, когда дяденька в шинели выйдет из их подъезда и пойдет со двора на кривую, с деревянными двухэтажными домами, улицу, где время от времени грохотали, громко повизгивая, трамваи, Юра прибежал домой.

– Мам, мам, ты чего? Кто это был, мам? – теребил он в нетерпении плачущую Елену.

– Никто, – ответила мать, вытирая ладонью глаза. – Сослуживец твоего отца. Вместе воевали.

– Ты ж говорила, он пропал без вести.

– Говорила...

– И что? Его нашли?

– Нет, не нашли...

– А чего ж он тогда приходил?

– Так... Повидаться...

Петр Мельников бесцельно шагал по улицам, узнавая город, ни о чем не думая и привычно подавляя ощущение постоянного голода. Словно во сне, он глядел на хождение туда-сюда бесконвойного народа, на играющих во дворах ребятишек, на судачащих на скамейках баб, и эта вольная жизнь казалась ему дикой и нереальной.

Изредка попадавшиеся ему по дороге военные и милиционеры, казалось, с подозрением простреливают его насквозь глазами, и от этих кажущихся, а может, и всамделишных взглядов его душа по-прежнему начинала тоненько и противно ныть от неистребимого страха, хотя у него и имелась бумажка об освобождении с печатью. Но Петр Мельников, насидевшийся в лагерях с августа сорок первого года, слишком хорошо знал, как быстро теряют значение одни бумажки и набирают мгновенную грозную силу другие, а потому каждый раз съеживался и готовился бежать или провалиться сквозь землю.

Он постоял и покурил у входа в пивнушку, нащупывая и перебирая пальцами монеты в кармане, удерживаясь от соблазна войти в дверь полуподвала, куда то и дело входили и откуда выходили свободные, очастливленные пивными градусами граждане.

Наконец он сделал решительный шаг и открыл дверь. Рез-

ко ударила в нос волна давно забытых запахов: пива, воблы, водки, курева и чего-то еще, столь же одуряюще приятно-го и желанного. Он сглотнул слюну и подошел к прилавку, над которым возвышалась грузная и грозная властительница вожделенного напитка. Она не удостоила вниманием тщедушную фигуру Петра Мельникова и молча налила ему две кружки разбавленной жидкости.

Пренебрегая копеечной сдачей, он пристроился в самом дальнем углу за одинокий столик, уставленный пустыми кружками и объедками воблы. Но не успел он сделать и пару сладких долгожданных глотков, как рядом с ним оказалась чья-то рыжая, всклокоченная голова.

– Угости, браток. – Чумазая рожа улыбалась так по-собачьи преданно и дружелюбно, что Петр Мельников и хотел было загородить рукой свои кровные пенящиеся кружки, но, заметив, что у просителя нет ноги, не спеша сделал несколько глотков из початой кружки и молча пододвинул ее, на треть опорожненную, рыжему.

– Ну, спасибочки! – обрадовался одноногий. – Сразу видать, свой брат, фронтовик! А солдат солдату завсегда друг. – Он зажмурился от наслаждения и отхлебнул из кружки. – Опять разбавила, холера, – сказал он беззлобно и подмигнул Петру. – Ты, солдатик, чего так позднечко-то с фронта?

– Много будешь знать, скоро состаришься, – угрюмо сказал Петр, не желая продолжать разговор.

– Так-то оно, конечно... А только с хорошим человеком и поговорить не грех, – ничуть не обиделся рыжий. – Вот ты на каком фронте воевал?

– Да что ты ко мне пристал! – разозлился Петр. – Фронт да фронт!.. Я пятнадцать годков на таком фронте отвоевал, что врагу не пожелаю! Понял?

– Понял, – сочувственно заморгал рыжий. И, наклонившись к Петру, зашептал: – За что ж они тебя так, браток?

– За что?! Это ты у них спроси, за что!.. Сам знаешь, как вначале войны воевали... Иль ты не сначала?

– С первого дня, как же! – закивал головой рыжий. – Как услышал по радио «Братья и сестры», так сразу в военкомат и подул. Всё, говорю, берите меня немедленно, сам товарищ Сталин меня по радио братом назвал! Они переглянулись так... видно, подумали, что я не того. А один, старший, видать, у них, и говорит: «Ты, – говорит, – Константин, молодец, в армию мы тебя возьмем, но только ты неправильно политику партии понимаешь. Мы тебе растолкуем. А только если где еще сболтнешь чего про товарища Сталина, то пеняй на себя!» Ну, я обрадовался, что на фронт-то берут, а про товарища Сталина с тех пор молчок, ни гу-гу! Только если когда тосты какие иль «За Родину, за Сталина ура», ну и я тогда уж вместе со всеми от души кричу, а так ни-ни! Тебя как звать-то?

– Петром.

– Вот они какие, Петруша, дела-то...

– Ногу-то когда оторвало? – уже мягче спросил Петр.

– Ногу-то? – весело отозвался рыжий. – Так ведь не пове-  
ришь, всю войну прошел без царапины! Ей-Богу! Меня за-  
говоренным считали, ага. А я так думаю, мамка моя за ме-  
ня крепко молилась, а как померла, тут меня и шарахнуло.  
Главное, браток, слышь, апрель, сорок пятый год, бляха-му-  
ха, мы на Одере, до Берлина рукой подать, а тут – трах-бах,  
немцы в наступление двинули! Да ладно, если б немцы, а то  
ж свои, падлы!

– Как это свои?

– Э-э!.. Власовцы! Слышал про таких?

– Слышал... Не только слышал, но и навидался.

– Иди ты! Ну и как? Чего они на нас перли?

– Чего перли, чего перли! Много ты понимаешь!

– А чегой-то я не понимаю? Предатели они и есть, раз на  
своих!

– Да вовсе они не на своих!.. Они хотели, чтоб всем...  
тут... народу... жилось хорошо. Без коммунистов, понятно?

– Без коммунистов? – тихо переспросил рыжий, опасливо  
оглянувшись по сторонам. – Дак ты чего-то не то, браток, го-  
воришь... куда же теперя без них?.. Ей-Богу, это чего-то они  
не того... За народ, говоришь, а кто ж меня тогда звизданул!  
Или я, по-ихнему, не народ?

– Не повезло тебе... – посочувствовал Петр.

– У меня ж тут невеста была... краси-ивая!.. Косы – во! –  
Рыжий показал рукой до своего целого колена.

– И что? Не дождалась?

– Дождаться-то дождалась... а только на что я ей такой?

– Как на что?.. – возмутился Петр. – Да теперь мужиков – на десять баб один! Подумаешь, нога!.. Не ногой же ты ее брюхатить будешь!

– В том-то и беда, браток, ранение у меня такое, что и брюхатить нечем... – Рыжий тяжело вздохнул и замолчал.

Замолчал и Петр. Что тут на это скажешь? Хуже этого, пожалуй, ничего и не придумать. И чтобы чем-то утешить товарища, сказал:

– Так ведь и я за пятнадцать-то почти лагерных годков, может, всего раза два с бабой был... Думал к жене воротиться, я перед самой войной женился... Ехал сюда, не знал, тут она, нет...

– Ну? – затаив дыхание, спросил рыжий. – Тут?

Петр не ответил, вздохнул. Допил пиво, закурил и только после всего зло рассмеялся.

– А потом думаю: да на хер она мне сдалась?

– Да ты чё, парень? – заволновался рыжий. – Да ты чё говоришь? Жена ведь, не лярва!

– Лярва она и есть! – отрезал Петр. – С выблядком своим живет, на фронте нажила. Кто она после этого, а?..

– Ой, парень, – заскорбел рыжий, – не суди... так-то уж... больно ты... А баба – она что?.. Как ей одной?.. А еще и на фронте... Сам посуди – от тебя ни слуху ни духу... ни живой ни мертвый... а?.. А так – ребеночек... Выкормить,

выучить – все ей повеселее... Уж ты бы простил... Ты ж еще не старый, своего бы родили...

– Да чего ты раззуделся над ухом, комар одноногий, и так тошно! «Своего!», «Родили!»... – передразнил он рыжего. – Много ты понимаешь!.. Ты погляди на меня! Морду-то не отворачивай, погляди! Да от меня не то что баба, кошка и та шарахается! А у нее... а она... с полковниками да генералами крутилась!.. Гладкая такая вся, будто и войны не было!.. А я пятнадцать лет на нарах по лагерям гнил! – Он изо всей силы стукнул кулаком по столу так, что лязгнула посуда.

Сидевший к ним спиной толстый человек в шляпе повернулся в пол-оборота и угрожающе прохрипел:

– Но-но, потише! Разбушевались! Вояки, мать вашу! Сейчас сдам в милицию! Фронтвики гребаные!

Лицо Петра побагровело. Он стиснул кулаки и направился прямо к «шляпе».

– А ну повтори, гнида тыловая, что ты сейчас про фронтвиков сказал!..

Рыжий бросился было вслед за Петром, но костыли его разлетелись в стороны; пытаясь их поймать, он не удержал равновесие и шмякнулся на пол.

– Тамарка, зови милицию! – заорал струсивший толстяк продавщице и на всякий случай забаррикадировался от Петра стулом.

– Тикай, дурень, отсюда! Тикай, говорю! От дурной! – горячился рыжий.

Но Петр уже ничего не соображал. Водка да пиво, выпитые на голодный желудок, ударили ему в голову, еще секунда – и он вцепился бы в толстяка мертвой хваткой. Но тут толстяк вытащил милицейский свисток и засвистел что есть мочи.

Этот жуткий для слуха Петра звук моментально отрезвил его. Он остановился и как затравленный зверь озирался теперь по сторонам, пытаясь опередить надвигающуюся опасность.

– Беги, Петя, слышишь? Беги, миленький, ну чего ты стоишь, беги! – шептал рыжий.

Петр повернулся и медленно вышел из пивной, куда уже приближались двое милиционеров.

Нервы его не выдержали, он побежал.

Милиционеры сделали стойку и бросились за ним в погоню.

Он быстро стал задыхаться, он знал, что не выдержит, что его догонят и станут бить. А потом все сначала: допросы, побои, лагерь, голод, холод, унижения, болезни, смерть. Он больше не хотел.

Он выскочил на проезжую часть и побежал посередине дороги. Он чувствовал за спиной их дыхание, их сопение, их предвкушение победы. Сейчас, вот сейчас его собьют с ног и начнут терзать все еще не до конца отупевшее от голода и побоев, все еще чувствительное к боли тело. Он увидел впереди мчавшийся на полном ходу трамвай. «Только бы

успеть!» – подумал он и, когда погонщики уже протягивали руки, чтобы схватить его за солдатскую, купленную им при выходе из лагеря с рук шинель, бросился под спасительные колеса трамвая.

Клавдии Петровне Соваж было уже под восемьдесят, когда она неожиданно получила письмо от своей племянницы Елены Павловны Мельниковой из Воронежа, дочери родной младшей сестры Марии Петровны Захарьиной, о судьбе которой ничего не знала с тридцать шестого года.

Елена кратко писала о смерти отца и матери, о потере сестры, а потом, во время войны, мужа. О том, что была на фронте, а теперь живет с сыном в Воронеже и работает в госпитале медсестрой. И что мать перед смертью завещала им с сестрой разыскать тетю Клаву, и вот теперь она нашла ее по адресному бюро, и что очень хотелось бы ей повидаться с родным человеком и заодно показать сыну город, в котором сама родилась и где все они раньше жили.

Прочитав письмо, Клавдия Петровна долго плакала: то ли от радости, что сохранилась и дала новый росток веточка от их когда-то пышно цветущего родословного дерева, то ли от печали за всех порубленных без времени других его ветвей.

В тот же вечер она ответила Елене, чтобы немедленно бросала работу и приезжала к ней, что она их с сыном пропишет, благо жилплощадь позволяет, а ей скоро умирать и хочется, чтобы хоть что-то из остатков их семейных реликвий перешло к родным людям, и уж пусть они поторопятся, потому что – возраст и болезни, и никто не знает своего часа,

и что, слава Богу, есть теперь кому закрыть ей глаза.

Во избежание коммунальных страстей Клавдия Петровна ничего не сказала соседям о своих семейных новостях и, соответственно, о планах. Ничего, она их просто поставит перед фактом! В конце концов, это они живут в ее квартире, а не она – в их! Как бывшая владелица и вообще дама с характером, Клавдия Петровна держала соседей в строгости, и ее, одинокую, нечего не значащую в советской жизни старуху, неизвестно почему, даже побаивались. Знали, конечно, что она из бывших, но то ли времена поменялись, то ли самих бывших осталось с гулькин нос, но только к бывшим стали проявлять некое даже уважение и интерес как к археологии или раритету. Никто из соседей, например, не мог бы сказать и одной фразы по-французски или по-немецки, а тетя Клава могла произносить целые монологи, если ее, конечно, очень попросить. Никто из соседей не играл на фортепьяно, а тетя Клава играла и даже кое-кого из соседских детей, чьи родители претендовали на вновь входившую в моду интеллигентность, обучала первоначальной музыкальной грамоте и языкам. А еще тетя Клава раскладывала пасьянс и умела гадать на картах, чем вызывала исключительный интерес женской половины обитателей квартиры, всегда склонной к амурным переживаниям.

Так что новые родственники тети Клавды имели некоторые шансы быть принятыми старыми жильцами без особо ядовитой враждебности, вполне, впрочем, объяснимой ненор-

мальностью коммунального сожигания.

Получив от тетушки ласковое письмо с предложением переехать к ней в Ленинград, Елена задумалась. После неожиданного визита Петра Мельникова она стала жить в еще большем страхе. Кто знает, а вдруг он передумает и не захочет возвращаться на Колыму, а вознамерится жить с ней? От одной этой мысли ее бросало в дрожь. И она готова была бежать от этого ужаса хоть на край света, где бы их с Юрочкой не нашли ни Петр, ни органы госбезопасности, которым лишь бы зацепиться за коготок, а уж там всей птичке пропасть ни за грош! А Юрочка... Юрочку потерять навсегда?!. Юрочку – в детский дом?!. Но – найдется ли в Ленинграде для нее работа, да и просто уживутся ли они со старой женщиной, привыкшей к одинокой самовластной жизни, не окажутся ли они для нее бременем неудобноносимым? Советоваться с сыном она не могла, тот еще слишком был мал. Вся ответственность за решение ложилась на нее. Да, времена переменялись, Елена это понимала, но что, если опять все повернется вспять и их с сыном снова погонят из Ленинграда, теперь уже не в Воронеж, а в неизвестную северную даль?.. За что?.. Из опыта всей своей жизни Елена знала, что это – праздный вопрос. Да мало ли за что, просто за то, что она дочь своих неправильно рожденных родителей и жена своего «предателя» – мужа...

«Как странно, – думала Елена, – с мужем они прожили всего двадцать три дня, и – война. С полковником в госпи-

тале после его выздоровления они были вместе... тоже двадцать три, и – фронт. Она осталась в тылу, а после Иван Федорович вообще отправил ее домой, в Воронеж: рожать «обязательно сына, а я буду крестным, если останусь жив». Не остался. Прямое попадание в операционную... От Анатолия Викторовича она получила четыре письма (это – ее самая большая драгоценность), а потом – неизвестность, конец... И никто не сообщил ей о судьбе полковника Шабельского. Кто она такая, чтобы ей сообщать? А самой разыскивать его ей было страшно. Вдруг он что-нибудь натворил... а Юрочка должен будет отвечать за отца!.. Нет, нет! Господи! Как все непонятно и страшно. Непонятно и страшно... Хоть бы у Юрочки все было по-другому. Как он похож!..

Она подходила к спящему сыну и подолгу вглядывалась в его лицо, и замирала от счастья, находя это сходство.

Она решила, не увольняясь пока с работы, просто поехать познакомиться с теткой, но Клавдия Петровна приняла их так сердечно и просто, что все Еленины сомнения развеялись в прах. Много было поведано обеими женщинами друг другу горестей, много было пролито слез, много было и взаимной радости, что вот, не оставил все же Бог до конца, дал хоть под занавес жизни утешение.

Елена осталась. Клавдия Петровна с энтузиазмом стала обустраивать новую, совместную жизнь. Прежде всего, перегородив шкафами комнату (в два окна) пополам, она устроила для Юры рабочий уголок и спальню для Елены. Вторую

половину комнаты занимала кровать самой Клавдии Петровны, огромный фикус и большой обеденный круглый стол.

Елена устроилась медсестрой в ту самую больницу, где некогда работал ее отец (об этом она, разумеется, никому не сказала). Юра пошел в пятый класс. Клавдия Петровна готовила обеды и была счастлива.

В Ленинграде Юре понравилось все: Исаакиевский собор и Эрмитаж, Ростральные колонны и Петропавловская крепость, белые ночи и Нева, школа и комната Клавдии Петровны у Таврического сада, больше похожая на музей. И, ложась спать, прежде чем смыкались в быстром и крепком сне Юрины глаза, он подолгу разглядывал огромную бронзовую люстру с зелеными стеклянными колпачками, свисавшую с середины высокого белого потолка с потрескавшейся лепниной, где он любил отыскивать, как и в небе на облаках, человеческие лица и замысловатые фигуры птиц и животных...

Но больше всего Юру поразил портрет, который он сразу увидел, впервые войдя в бабушкину комнату (так Клавдия Петровна велела Юре себя называть, непременно бабушкой и никакой не тетей Клавой!). Это был большой портрет, написанный маслом, некоего красивого господина в темном сюртуке и галстуке; он сидел в кресле, заложив ногу за ногу, и смотрел весело и чуть насмешливо прямо Юре в глаза, словно вопрошая: «Ну-с, молодой человек, давайте знакомиться. Я – такой-то. А с кем имею честь?..» «Кто это?» – каждый раз, встречаясь глазами с портретом, думал Юра, но

спрашивать бабушку почему-то робел и, только прожив на Таврической несколько месяцев, пообвыкнув и освоившись, как-то раз, набравшись храбрости, спросил:

– Бабушка, а кто этот дяденька на портрете?

Клавдия Петровна улыбнулась, взглянула на портрет, потом на Юру и радостно сообщила:

– Это мой отец, твой прадедушка.

– К-как? – ахнул Юра. – Он был что... буржуй? – упавшим голосом проронил он.

Лицо бабушки медленно налилось краской.

– Ваш прадед, Юрий Петрович, по матери, – грацируя и чеканя каждое слово, выговаривала Клавдия Петровна, – был замечательным ученым, биологом, профессором Московского университета и скончался, слава тебе Господи, до Великой Октябрьской социалистической революции. – И бабушка широко перекрестилась.

Юра похолодел. Он никогда не видел ее такой сердитой. Она называла его почему-то на «вы» и по отчеству; Юра только краснел и моргал глазами, готовый вот-вот заплакать.

– Ну вот что, мой дорогой, – глядя на потерянное лицо внука, смягчилась бабушка, – сейчас ты все равно ничего не поймешь, но запомни: ты можешь гордиться своими предками. Они прожили достойную жизнь и честно послужили России, нам есть чему у них поучиться. Дай Бог, чтобы мы оказались достойными их памяти.

Потом бабушка достала старый кожаный альбом с золо-

тыми застёжками, расстегнула замочки, и перед Юриными глазами предстали все его близкие и дальние предки и сродники: штатские, военные, дамы с детьми и без детей, кавалеры... и, тыча в фотографии пальцем, Юра каждый раз спрашивал: а это кто? а это?.. а эти?.. И каждый раз бабушка отвечала: это мои родители, это кузины, это сестры, это бабушка с дедушкой, это брат, это мой муж, это дети...

Юра был ошеломлен. Он и не представлял, что у одного человека может быть столько родственников! (У него самого была только одна мама, да вот теперь еще эта бабушка!..) И все они уже давно умерли... а фотографии остались, и бабушка каждого из них помнит и про каждого может рассказать, и все они в ее рассказах как живые, так что даже странно, что их вроде бы уже давно нет на свете... и как это их нет, когда вот... Юра не мог объяснить, что означает это «вот», но смутное ощущение того, что все же они не совсем, не до конца умерли, а как-то еще продолжают существовать, смущением и радостью впервые вошло в его сердце. И вот что еще интересно: если бы их не было, то не было бы и его, Юры... и он существует только потому, что все они когда-то жили!.. И вот эта явная, видимая, наглядная связь и смена поколений, набегавших как волны одна за другой, пронзила Юру своей величавой непреложностью, как самый главный, неотменяемый закон жизни. И он... заплакал. Он и сам не понимал, отчего он плачет. Жалко ли ему было тех, ушедших, молодых и красивых людей с такими умными, живыми

лицами, или он плакал оттого, что и сам смертен, что и ему предстоит когда-то уйти, как и тем, как и всем, как и маме...

Он долго не мог уснуть ночью и все ворочался так, что мама, встав со своего диванчика, под села к нему на раскладушку и, положив свою маленькую, мягкую, прохладную ладонь на его лоб, спросила:

– Ты почему, милый, не спишь? Ты не заболел?

– Мам, а ты знаешь, кто этот дяденька на портрете? – шепотом спросил Юра.

– Нет, – солгала Елена.

– А я знаю! – гордо прошептал Юра. – Это мой прадед! Он, знаешь, кто? Профессор! Николай Федорович Кокорин!.. А еще бабушка показывала мне альбом! Там, знаешь, такие фотографии!.. Старинные!.. И даже генералы!.. А одна девушка... в такой шляпе, знаешь, то есть, дама... красивая! Это, знаешь, кто? Моя бабушка Мария, твоя мама! И еще там всякие офицеры! И даже этот, ну... с крестом!..

Елена молча кусала губы. «Боже мой, зачем она показывает это ребенку? Ведь он глупый, он может разболтать! Только-только начали жить, и вот – на тебе, опять! Зачем эти воспоминания, зачем эти бывшие родственники, мало они отравили ей жизнь, теперь они будут травить жизнь ее сыну! Господи, неужели ей никогда, никогда не освободиться от прошлого, не оградить сына, не начать жизнь с белого листа!»

На следующий день она настроилась решительно поговорить с тетей. Но решительно разговаривать она не умела, по-

этому начала робко:

– Тетя, я хотела вас попросить...

– О чем, Леночка?

– Тетечка, – плачущим голосом сказала Елена, – зачем вы показали Юре эти фотографии?

– Прости, пожалуйста, но я не понимаю...

– Ну что же здесь непонятного, тетя!.. Ведь он пионер!..

Скоро в комсомол! – в отчаянии заговорила Елена. – Ну что у него за предки!.. Какие-то дореволюционные профессора, генералы, Бог знает кто! Это может мальчику навредить, как вы не понимаете! Его же могут спросить о родственниках, что он скажет?..

Клавдия Петровна ничего не ответила, потом достала злополучный альбом и положила его перед Еленой.

– Ну, если ты так стыдишься своих предков, возьми и сожги. Меня уже, слава Богу, скоро не станет, а тебе они будут только мешать.

– Я не стыжусь... – мучительно проговорила Елена. – Я боюсь...

– Что ж, это понятно, – согласилась Клавдия Петровна. – У страха глаза велики.

– Я не за себя боюсь, – тихо сказала Елена. – Я за Юру боюсь. Ему жить...

– Ему жить, – снова согласилась Клавдия Петровна. – Иванов, не помнящим родства.

– Тетя... – умоляюще начала Елена.

– Да, Леночка.

– Простите меня, тетя... – Она заплакала. – Если б вы знали, сколько я пережила!.. За родителей... за мужа... за Анатолия Викторовича... Всю свою жизнь дрожу... дрожу, как осиновый лист! О Господи!..

– Кто это Анатолий Викторович? – спросила тетя.

– Это... это отец Юры, – совсем тихо после паузы проговорила Елена. – Мы встретились во время войны в госпитале... Он был тяжело ранен... Он намного старше, но... Воевал на Первой мировой, потом... у Врангеля, – добавила она едва слышно. – Его фамилия Шабельский.

– Шабельский... – задумчиво повторила Клавдия Петровна. – Я знала одного Шабельского. В пятнадцатом году за поручика Шабельского вышла замуж моя кузина Танечка Винер. Но его звали Александр. Очень красивый молодой офицер. Кажется, им удалось эмигрировать... А Анатолий Викторович жив?

Елена покачала головой.

– Не знаю... нет. Если бы он остался жив, он бы вернулся... Я получила от него четыре письма, последнее – в декабре сорок четвертого... После войны я хотела его разыскать, но я... я боялась... Я боялась, что они вспомнят моих родителей, вспомнят, кто такой Анатолий Викторович, узнают, что Юра его сын! Нет!.. Нет, пусть лучше так!.. Пускай я одна... страдаю. Юра не должен ничего знать! Никто не должен ничего знать, слышите, тетя? Никто ничего! Иначе

я погибну!..

– Успокойся, Леночка. Разве ты не видишь, другие времена. Многие возвращаются...

– Я им не верю! Слышите, тетя? Не верю! – горячо заговорила Елена. – Вон у нас на работе... парторг! Знаете, как он на меня смотрит? Прямо ест глазами!

– Леночка, – рассмеялась Клавдия Петровна, – так это он, наверное, в тебя влюбился.

– Нет, тетечка, мне не до шуток. Так не влюбляются.

– Ну полно. Полно, Леночка. Так ведь можно со страху и умом повредиться. А у тебя сын. Ты еще долго будешь ему нужна. Всё! – решительно хлопнула по столу Клавдия Петровна. – Отныне и навеки я запрещаю тебе бояться! Ясно? А чему быть, того не миновать! Помнишь Евангелие? Ни один волос не упадет без воли Божией. Стало быть, надо Богу доверять. Ну а уж коли Он попустит пострадать, значит, страдаем. Эх, мало в нас веры, оттого и дрожим всю жизнь как осиновый лист! – Она с ласковой снисходительностью посмотрела на Леночку и поцеловала ее в лоб. – А что, есть у тебя фотография Анатолия Викторовича?

Елена снова на мгновение застыла.

– Да не бойся, в МГБ не снесу.

– Есть, – вымолвила наконец Леночка. – Только она далеко... спрятана.

– А ты достань. Я хочу на него посмотреть, слышишь? Да и сама лишний раз полюбишься.

Елена вытащила из-под кровати большой коричневый чемодан и долго в нем рылась, перебирая какие-то вещи и бумаги, наконец достала старый потертый конверт. В нем лежали четыре письма Анатолия Викторовича и его маленькая военная фотография.

– Вот... – протянула она Клавдии Петровне карточку.

Тетушка долго и, как показалось Елене, любовно рассматривала фотографию, потом раздумчиво произнесла:

– Хороший... – И повторила: – Хороший... Трудно, конечно, сказать насчет схожести с тем Шабельским, с Александром, того я знала молодым, а этому, должно быть, уже за сорок... А может, он остался за границей? Некоторым это удавалось...

– Нет! – болезненно вскрикнула Елена. – Нет! Этого не может быть!

– Ты так уверена?

– Никогда! Никогда он не остался бы за границей! Никогда! Вы его не знаете, тетя! Никогда! – твердила Елена как заклинание. – Он погиб! Погиб!.. Но я вас умоляю, тетя, не говорите ничего Юрочке, он ничего не должен знать, я вас умоляю!..

Через год Клавдия Петровна Соваж умерла. Ее похоронили на Смоленском кладбище, в могиле ее матери, погибшей в девятнадцатом году не столько от свирепствующего тогда голода, сколько от безнадежной тоски ввиду свершавшегося на их глазах светопреставления.

После смерти тетушки Елена собрала все компрометирующие ее с сыном фотографии из старинного альбома, всех этих представительных генералов и профессоров, нарядных кузин и кузенов, старых дедушек и бабушек, добродушных тетушек и дядюшек – многочисленной в прошлом родни – и сожгла все это богатство во все еще действующей кафельной печи. Большой масляный портрет дедушки был разрезан на маленькие кусочки и последовал в печь вслед за фотографиями.

Придя из школы домой и увидев пустую раму с лохмотьями вырезанного по краям холста, Юра остолбенело спросил:

– А где прадедушка?

– Какой прадедушка? – сделав вид, что не поняла Юрино-го вопроса, сказала Елена.

– Как это какой? Мой! Мой прадедушка! Николай Федорович Кокорин! Вот какой! – закричал Юра.

Елена, ничего не отвечая, вертела в руках коробок спичек. Вдруг Юра судорожно вдохнул воздух и бросился к печи, открыл дверцу – пахло дымом, в печи тихо догорало.

– З-зачем... з-зачем ты это... сделала? Зачем?! – дрожащим голосом проговорил Юра.

Но Елена по-прежнему молчала, и только руки ее тихо вздрагивали, а глаза испуганно смотрели куда-то поверх Юриной головы.

Схватив курточку, Юра выбежал из дома и до ночи бродил по городу, а потом еще долго не разговаривал с матерью, не в

силах понять и простить ей непонятно для чего нанесенную ему обиду.

Трудно сказать, отчего после смерти Клавдии Петровны соседи невзлюбили тихую, кроткую Леночку. На нее шипели, кричали, к ней придирались («не выключила в коридоре свет», «плохо помыла полы», «заняла ванну»), не звали к телефону. Она стала бояться выходить на кухню, в туалет. Старалась готовить каши и чай в комнате, и только ночью, когда вся квартира засыпала, потихоньку шла в ванную помыться и постирать белье, которое тоже сушила в комнате.

Но чем незаметнее и тише старалась вести себя Леночка, тем бóльшую ненависть соседей она вызывала. Это была реакция стаи на слабейшую особь. Как и в животном, в человеческом мире слабого старательно заклевывали сотоварищи. Впрочем, причина могла быть и иной: они с сыном – пришельцы (хотя кто не был пришельцем в этой квартире?) – занимали самую большую, светлую и красивую комнату. Некоторые ютились в маленькой комнатушке впятером, как же было не завидовать, не нервничать, не трясти кулаками, и вообще – где справедливость? Справедливости, как известно, не было нигде и никогда, тем не менее ее жаждали и отсутствие ее по жизни никого не смиряло, но, напротив, только разжигало неутоленные страсти.

Однажды поздно вечером подвыпивший сосед стал ломиться к ним в комнату, крича и матерясь жуткими словами,

что вот, мол, понаехали скобари, они же буржуи проклятые, повыгонять этих бар, эту сволочь паршивую из рабочего города Ленина на сто первый километр, и дело с концом!

Леночка сидела на кровати, не шевелясь и умирая от страха. Ей казалось, что дверь вот-вот рухнет, гориллообразные ручища соседа сгребут ее вместе с сыном и зашвырнут в какую-то жуткую, неведомую даль, где, как во аде, кромешная тьма и отсутствие на веки вечные лица человеческого.

Вдруг Юра (ему было уже четырнадцать лет) схватил со стола нож и в бешенстве, сам не понимая, что делает и зачем, распахнул дверь. Не ожидавший такого коварного хода сосед отпрянул и завопил. Но Юра, как маленький сумасшедший зверек, набросился на него, размахивая ножом и крича, что если он хотя бы еще раз!.. посмеет!.. на него!.. на мать!.. он его убьет!.. зарежет!.. выбросит из окна!..

Сосед, меньше всего ожидавший такой бури и натиска от щенка, оторопев от Юриной бешеной наглости и, хоть и был пьян, все же не посмел поднять руку на ребенка, ретировался восвояси, бурча под нос проклятия и угрозы уже совсем мирным, чуть не добродушным тоном.

С тех пор соседи перестали их трогать. Елену просто не замечали, а к Юре стали относиться даже с уважением.

Так они прожили несколько лет. Юра окончил десять классов и поступил в университет на физический факультет. Елена Павловна по-прежнему работала медсестрой.

Она тихо старела. Стала быстро утомляться, с трудом под-

нималась на высокий четвертый этаж с продуктами, уже не дежурила по ночам в больнице, а перевелась (в утро/вечер) в поликлинику, у нее появилась одышка, боли в сердце. Врачи предлагали лечь в больницу, она все отмахивалась: потом!.. Какая больница, она просто устала бояться, устала жить! Все чаще она вспоминала теперь Анатолия Викторовича, единственную свою любовь, и его маленькая фотография, все еще не доверенная Юре, теперь всегда была под рукой.

И, проводя все вечера дома одна, она подолгу смотрела на него улыбаясь, в странном предвкушении какой-то приближающейся радости. Нет, она не стала особо религиозной, но почему-то совсем не боялась смерти, и даже жалость расставания с сыном не очень пугала ее, ей казалось, что она и, вне разумно объясняемого, оттуда будет все видеть и знать и радоваться его жизни.

Наконец она окончательно слегла. Она еще больше похудела, а ярко-голубые когда-то ее глаза потемнели и глядели на мир как из колодезной глубины. Юра конечно же переживал, покупал лекарства, как мог ухаживал за матерью, но учеба и молодость брали свое, он по-прежнему приходил домой только ночевать.

Однажды Елена Павловна сказала:

– Юрочка, ты скоро останешься один...

– Ну что ты говоришь, мама, и слушать ничего не хочу!

Поправишься! Вот увидишь! – преувеличенно бодро запротестовал Юра.

Но у Елены Павловны не было сил даже усмехнуться про себя на это невинное лицемерие. Она давно душой и мыслями была уже не здесь, и потому пред серьезностью предстоящего исхода все людские придумки, ложь и лукавство казались ей смешными и не стоящими внимания.

Она достала свое единственное земное сокровище и протянула его сыну:

– Вот, Юрочка, это твой отец. Анатолий Викторович Шабельский. – И она рассказала сыну все, что знала о нем сама. Не так уж много, конечно, но все-таки самое главное Юра теперь знал, и она спокойно могла закрыть глаза.

– И еще, – помедлив, произнесла Елена Павловна. – Я бы хотела, чтобы меня отпели в Никольском... там, где мы с сестрой... где нас крестили... У меня ведь была сестра... Ниночка... но она тоже пропала... теперь неважно... Мамочка все боялась, что мы выйдем... за образованных... Тогда это было... признаком неблагонадежности... происхождение... понимаешь?.. Господи, как глупо... До революции это была тетина квартира... а мы... жили на Фурштатской, дом номер тридцать семь... теперь это Петра Лаврова... Кто этот Петр Лавров, не знаешь?.. Какой-нибудь революционер... В Павловске у нас была дача... у дедушки... Павловск хотели назвать Слуцк... А в тридцать шестом нас вычистили в Воронеж... Бедный папочка... Бедная моя мамочка... Знаешь, Юрочка, я ведь ничего этого вашего не понимаю... И как это все скучно... Никогда бы не подумала, какая скуч-

ная будет жизнь... Вот только война... какие люди были на войне... таких больше нет... А, знаешь, – она с трудом улыбнулась, – я все время слышу теперь... голоса... я не могу объяснить... но это так... чудесно... Я счастлива, что твой отец... что твой отец не... Петр Мельников... Обещай мне... если это будет когда-нибудь возможно... взять имя отца... слышишь?... Это моя последняя просьба... обещай...

Она затихла. Ее дыхание почти совсем прекратилось; Юра сидел не шевелясь, держа ее руку в своей, потом она еще раз громко вздохнула, и ее бедная, испуганная на всю жизнь душа отлетела.

Юра вспомнил (где-то читал), что умершим надо закрыть глаза и подвязать челюсть. Что нужно делать дальше, он не знал. Вышел в коридор, постоял, потом прошел на кухню, там не было никого. Он постучал в первую попавшуюся дверь, женский голос томно ответил:

– Да-да?..

И он вошел.

В длинной узкой комнате (третьей части бывшей гостиной Клавдии Петровны) на кушетке лежала молодая женщина в халате, бездетная жена инженера Иванова, бесчисленно и нещадно ему изменявшая. При виде вошедшего Юры лицо ее просияло, она лениво поправила халатик, еще больше обнажив свои красивые ноги.

– Юрочка... Студентик... – сказала она, плотоядно улыбаясь ярко накрашенным ртом. – Очень, очень рада... При-

саживайся. Проходи.

– У меня мама умерла, – сказал он хмуро. – Вы не знаете, надо в милицию или «скорую помощь»?

Юлия Николаевна всплеснула руками.

– Да что ты говоришь! Когда? Прямо сейчас? Ах, какое несчастье!.. Вот наша жизнь! – воскликнула она патетически и потеряла глаза. – Живешь, живешь, все чего-то хочешь, кого-то ищешь – и вот!.. погоди, ты куда? Постой!..

И Юлия Николаевна приняла самое деятельное участие в похоронах Юриной мамы.

Правда, в церковь Юлия Николаевна не пошла, заявив, что ее муж партийный и мало ли что, донесут, могут быть неприятности. Зато устроила поминки на всю квартиру. За десять лет, что Юра с мамой прожили на Таврической, почти все соседи сменились, новые уже и не знали, кто такая Клавдия Петровна и откуда взялись Елена Павловна с Юрой, они давно стали старожилками. Никто их не притеснял, никто особо и не дружил. Но на поминки собрались все. Говорили в основном, какая Елена Павловна была скромная и добрая женщина и что всегда у нее наготове было какое-нибудь лекарство, так что и в аптеку бегать не надо, разве уж в экстраординарных случаях. Потом сетовали на быстротечность времени, постепенно разговор перешел на бытовые и семейные рельсы, рассказали пару анекдотов про «кукурузника» – Хрущева (это уже было совсем не опасно), потом анекдоты посыпались в изобилии – и про чукчей, и про дистрофиков,

и про Чапаева с Петькой. Неуемный народный юмор хлестал и захлестывал и народных правителей, и народных героев, и сам народ, и, разумеется, поминки, о которых вспомнили, уже только расходясь спать, принимая дружно на посошок и сочувственно пожимая Юрину руку.

Юра никого не слушал, почти ничего не ел и не пил. Смерть матери все еще не вмещалась в его сознание.

На следующее утро, проводив инженера Иванова на работу, Юлия Николаевна отправилась к Юре помочь убрать комнату после поминок.

Комната была не заперта, он все еще спал.

Юлия Николаевна накинула крючок на дверь и мягкой, кошачьей походкой подошла к Юриной постели.

– Юрочка... Ты спишь?.. – она легонько пощекотала его по шее.

Юра открыл глаза и ошарашенно взглянул на Юлию Николаевну.

– Т-сс! – приложила она палец к губам. – Я только на минуточку... хотела тебе помочь... Ты спи, спи... Я только вот тут... рядышком... немножко тебя пожалею... бедненький мой... Ты не возражаешь?.. – И она ловкой ящерицей скользнула к нему под одеяло...

С этого утра Юра потерял голову. Теперь Юлия Николаевна приходила к нему каждый день, пока инженер Иванов трудился, зарабатывая им обоим на жизнь и ей – на удовольствия. Субботы и воскресенья стали для Юры самыми мучи-

тельными днями, когда инженер Иванов не работал и Юлия Николаевна принадлежала ему целиком. Он не мог заниматься, практически перестал ходить в университет, не зная, куда себя деть, часами тупо просиживал в комнате, прислушиваясь к звукам в коридоре в надежде услышать ее голос, ее шаги. Ночами он мучился от ревности к инженеру и даже ходил подслушивать к ним под дверь, терзая свое воображение страстными картинами их супружеской близости.

Однажды в аффекте распаленной чувственности он грубо и страстно потребовал от Юлии Николаевны, чтобы та немедленно развелась с инженером и вышла за него замуж. Юлия Николаевна хохотала до изнеможения, называла его безумным мальчиком и своим студентиком, говорила, что ей никогда-никогда ни с кем не было так хорошо, как с ним, но развестись с инженером – это уж слишком и что им и так неплохо, пока инженер ни о чем не догадывается, а даже если и догадывается, то наплевать.

Но догадывался не только инженер, догадывались соседи и, не уставая, судачили, перебивая кости в основном Юлии Николаевне и привлекая все крепкие слова русского лексикона на хорошенькую ее головку. Юру не столько осуждали, сколько жалели (сирота!) и за его спиной сочувственно вздыхали и понимающе переглядывались.

Трудно сказать, отчего инженер Иванов столь стойко и безропотно переносил трудно переносимое поведение жены, – чужая душа потемки. И неизвестно, чем бы закончил-

ся сей бурный роман юного студента и коммунальной дивы (уже грозили ему отчислением из университета за пропуски занятий и многочисленные хвосты), если бы сама дива внезапно не охладела к своему любовнику. Пресытилась ли она бурными ласками студента, нашла ли новый объект для своей страсти, но в один прекрасный день она заявила Юре:

– Знаешь, Юрочка, нам нужно расстаться.

– К-как? – опешил Юра. – Почему?

– Ну... видишь ли, моему мужу донесли, и...

– И что?

– Он недоволен. Мягко выражаясь. Сам понимаешь... Он даже меня ударил, – капризно скривив губы, соврала Юлия Николаевна.

Юра побелел.

– Я его убью! – прошептал он.

– Что ты, Юрочка, зачем? Я этого вовсе не хочу.

– Не хочешь?!

– Естественно.

– Тогда я убью тебя!

– Послушай, Отелло, у нас очень строгие законы. Тебя посадят в тюрьму или даже расстреляют. Тебе это нужно?.. Дурачок. Ну и дурачок... Ну иди ко мне... Ах, какой ты... Подожди... подожди... – Она тяжело задышала, и Юра, подхватив ее на руки, понес на кровать. – Что ты делаешь, дверь не заперта... войдут...

Юра с Юлией Николаевной на руках подошел к дверям и

накинул крючок. Она, обхватив его за шею, только тихонько посмеивалась ему в ключицу.

– Ты меня любишь? – спросил через некоторое время Юра, уткнувшись в грудь своей возлюбленной Юлии, еще тяжело и бурно дыша.

– Уж-жасно... я тебя обож-жаю... – игриво прорычала Юлия Николаевна. – Ты мой тигр-рр!..

– Тогда бросай к черту своего Иванова и переезжай ко мне.

– Ты с ума сошел! Ты снова? Опять, да, опять?!

– Я люблю тебя, слышишь? Юлька, я не смогу без тебя! Я умру!

– Ну-у, мальчик мой, от этого не умирают, – снисходительно сказала Юлия, – найдешь себе какую-нибудь девицу, ты ж теперь опытный, мало их?..

– Ты, знаешь, кто?.. – Юра повернул ее на спину и, навалившись, обхватил руками ее горло. – Ты стерва.

– Пусти!.. – захрипела Юлия. – Мне же больно! Дурак! Сейчас же отпусти!..

Юра разжал пальцы, Юлия выскользнула из его рук.

– Ах так?.. Так ты еще и ругаться? Ну хорошо!.. Ты еще пожалеешь! – И она лихорадочно, что-то бормоча и всхлипывая, стала натягивать на себя одежду.

Юра сидел сгорбившись и, отвернувшись от Юлии Николаевны, молча и угрюмо страдал.

– Прощай! – резко крикнула уже у дверей Юлия Никола-

евна.

Юра, как ужаленный, вдруг вскочил и закричал:

– Юля! Постой! Юлечка, прости меня!

Но Юлия Николаевна уже хлопнула дверью и, быстренько шмыгнув в свою комнату, предусмотрительно закрылась на ключ.

Юра барабанил ей в дверь, умолял, грозил, чуть не плакал – все напрасно, дверь ему больше не открыли.

С тех пор Юлия Николаевна не заходила в Юрину комнату, всячески избегая встреч даже в местах общего пользования. Юра подкарауливал ее на улице, в коридоре, на кухне, даже у туалета – Юлия Николаевна сделалась неуловимой. А через некоторое время супруги Ивановы и вообще уехали из их дома. Всезнающие соседи говорили, что инженер-строитель Иванов получил квартиру в новостройке (в начале шестидесятых повсюду шло строительство хрущевских домов, и некоторые счастливицы впервые переезжали из шумных коммунальных муравейников в отдельное, не обремененное чужим присутствием, собственное жилье).

«Все проходит», – сказано древними. Первое время Юре казалось, он не переживет разлуки с Юлией Николаевной. Но прошел месяц, другой, Юра поневоле окунулся в учебу, наверстывая упущенное, потом Юлия Николаевна уехала, и Юра ее забыл.

Во всяком случае, ко времени встречи с Галиной он уже с трудом вспоминал, а если и вспоминал, то исключительно

с иронией, о своей юношеской страсти к роковой соседке, если и не вполне бальзаковского возраста, то все же намного превосходящей его летами и, главное, опытом.

Галина была на несколько лет моложе. У обоих за плечами был университет, самостоятельная, без родительской опеки, жизнь и какой-никакой житейский опыт. У Галины он был, очевидно, богаче и горше, у Юры, не считая драматической перипетии с Юлией Николаевной, все остальные, не очень, кстати, многочисленные, связи, в основном со своими же девочками-студентками, были безболезненны и легки.

Встретив Галину, Юра как-то сразу, не раздумывая, понял, что это всерьез и надолго. У нее был маленький сын, что исключало легкомысленный флирт, нужно было решаться... да он и готов был сразу решиться, но... как сказать, как выразить все то, что он мог, что чувствовал и что хотелось сказать?.. И он просто стал жить рядом с ними, невольно, еще не понимая, он сделал самое верное и нужное, он сделался ей (мальчику, а потому и ей) необходим, а потом и незаменим. Его бескорыстная преданность без ожидания немедленной платы рождала естественную женскую благодарность и ответное чувство... любви?.. Может быть, и любви... ведь любовь светит, переливаясь разными своими гранями, не только страстью, но и нежностью, тихой лаской и теплотой...

И вот она впервые вошла в его комнату... хозяйкой. И как же ей понравились и ее владения, и ее новая роль! Она внимательно осмотрела всю комнату целиком, не пропустив

ни одной мелочи, отметив с удовольствием и большие окна, выходящие в Таврический сад, и высокие потолки с давно попортившейся лепниной (ничего, можно когда-нибудь восстановить!), и красивые стены с голубыми панелями, по которым также стелился, кое-где прерываясь, гипсовый орнамент, и конечно же роскошная кафельная печь... На стенах висели чудом сохранившиеся из коллекции Клавдии Петровны немногие фотографии ее, а следовательно, и Юриных родственников, какие-то картинки, акварельки, пейзажи, и все это в замысловатых рамочках красного дерева, в такого же дерева книжном шкафу находилась довольно приличная библиотека, в старинной горке скромно покоился антиквариат...

Шаг за шагом осмотрев все это богатство, теперь по праву принадлежащее и ей, Галина осталась довольна и своим выбором мужа, и его приданым. У нее, кроме сына и сумки с незамысловатыми тряпочками, не было ничего, даже прописки. Отныне она получила все, о чем можно было только мечтать девочке из далекого северного поселка, бабка которой пила, мать гуляла, а отца не было вовсе, вернее, когда-то, конечно, он был, но сидел в тюрьме, что, следовательно, во все и не считалось.

# Часть третья

## 1

Однажды Юра принес домой журнал «Новый мир» и, открывая страницу с какой-то повестью неизвестного автора, протянул Галине:

– Вот прочти.

– Что это?

– Прочти, после поговорим.

– Ну хорошо, оставь. Я посмотрю.

– Только побыстрее, ладно?

В тот же вечер, уложив сына пораньше, Галина прочла повесть.

– Слушай, – сказала она Юре за чаем, перед тем как лечь спать, – по-моему, неплохо. Мне понравилось. Кто такой этот Шабельский?

Юра смотрел на нее загадочно и улыбался.

– Я, – сказал он.

– Что – ты? – улыбнулась Галина.

– Шабельский – это я.

– Слушай, не морочь мне голову...

– Галочка, почему ты отказываешь мне в праве на талант?

– Юрка... хватит меня разыгрывать. Я никогда не видела

тебя, извини, с пером в руке...

– Я написал это давно, еще до тебя... Когда умерла мама... и все такое прочее... Помнишь, этот твой московский хахаль приезжал, Женька, я ему и отдал, так, без всякой задней мысли. Говорю, отнеси куда-нибудь в журнал. Ну и...

– И что?

– Что-что? Напечатали.

– А почему ты мне ничего не сказал?

– А что заранее-то? Вдруг ничего бы не вышло?.. Одним словом, сюрприз.

– А почему такая фамилия? – обескураженно спрашивала Галина, все еще не веря свершившемуся писательскому дебюту своего мужа. – Это псевдоним?

– Не совсем. Это фамилия моего настоящего отца. – И Юра рассказал Галине в свою очередь все, что узнал когда-то от покойной матери об Анатолии Викторовиче Шабельском.

– Ну и что, – спрашивала Галина, – ты теперь будешь менять фамилию?

– Не знаю, думаю, это сложно. Может, действительно, пусть это будет мой писательский псевдоним?..

Так Галинин муж стал писателем, а она, соответственно, писательской женой.

Юрина во многом автобиографическая, как у многих начинающих авторов, повесть была замечена и читателями, и критикой, о ней заговорили в прессе. Потом Юре предложили написать по его повести киносценарий. Фильм сни-

мал маститый режиссер, из актеров, исполнителей главных ролей, все были народные любимцы, фильм оказался удачным, имел бешеный успех. Театральные режиссеры решили не отстать, и Юра написал (все по той же повести) теперь уже пьесу; она обошла все театры страны. Пришли деньги и слава. Молодой, обаятельный, симпатичный, неглупый Юра был нарасхват. Куда его только ни приглашали: на театральные и кинопремьеры, на встречи со зрителями и читателями, на семинары молодых писателей, в творческие командировки, на заводы и фабрики, в воинские части и на засекреченные объекты, к космонавтам и передовикам производства, на комсомольские стройки и даже за границу (правда, всего лишь в Болгарию, но неважно!).

Он давно забросил физику и почивал на лаврах.

Он стал самым молодым членом Союза писателей (средний возраст тогдашних членов застревал где-то на отметке в семьдесят лет) со всеми вытекающими в советское время привилегиями. Рядом с ними освободилась комната, и Юре как члену Союза писателей, имевшему право на дополнительную жилплощадь – отдельный кабинет, ее отдали. Больше того, когда они с Галиной решили разделить их огромную квартиру пополам с отдельным для себя черным входом, им разрешили и это. Так у них появилась своя квартира в центре города, что само по себе было неслыханным везением. Жизнь, словно авансом, выдала им все свои щедроты разом, вместо того чтобы растянуть их на долгое время до старости,

чередую, как у всех прочих людей, белое с черным, полосочкой.

Единственное, что время от времени исподволь, как сосание под ложечкой, беспокоило Юру (а быть может, еще более Галину), это необходимость подтверждать свой высокий статус новыми литературными достижениями. Их, увы, не было.

Юра с удовольствием ездил, летал и плавал по одной шестой части мира, отчитываясь за государственные командировки статьями и фельетонами, очерками и рассказами, тщательно описывая все, что видел и слышал. Его заказные материалы охотно публиковали толстые и тонкие журналы, но это все было не то. Казалось, творческие потенции были израсходованы целиком в его первой, прогремевшей на всю страну юношеской повести, а теперь наступила пора литературной рутины и поденщины, не приносящая настоящей радости и удовлетворения. Юра пробовал описывать свое детство, свою первую и последующие за ней любви, сложности жизни молодой семьи, но все выходило скучно, банально, неинтересно.

Наконец он понял, что оказался в литературе случайно, что занимает чужое место, что вернуться к науке уже не в состоянии и отныне главная его забота – чтобы Галина поняла это как можно позже. Галина же, женским своим чутьем почувствовав это раньше Юры, также изо всех сил старалась сохранять свое ведение от него в тайне. Так оба дела-

ли вид, что все в порядке. Она, защитив диссертацию, стала работать в Пушкинском Доме, он разъезжал по командировкам, занимался общественной работой, даже чем-то в Союзе писателей руководил, и, если не предъявлять к себе особых требований и не угрызаться особо совестью по ночам, можно было бы жить вполне спокойно и сытно (таких, как Юра, писателей было в Союзе большинство).

## 2

Алеше было семь лет, когда он неожиданно спросил:

– Мам, а почему я Сергеевич, а папа у нас Юра?

Галина смутилась от неожиданности и покраснела, не зная, что ответить сыну.

Но Юра нашелся.

– Твое отчество в честь бабушки, понимаешь? Мамино папу звали Сергей, и маме очень хотелось, чтобы ты тоже был Сергеевич. Ясно?

– Ясно, – ответил Алеша. – А у тебя отчество тоже от бабушки?

– У меня?.. – На этот раз смутился и замолчал Юра. – Нет, у меня отчество моего отца, – сказал он. Не станешь же объяснять ребенку сложные перипетии взрослой жизни, когда отцами оказываются вовсе не те мужчины, чьи отчества носят дети. А Юрий Петрович Мельников знал, что муж его матери Петр Матвеевич Мельников, пропавший без вести на фронте, не его отец.

И вдруг Галине до смерти захотелось увидеть Алешиного отца.

Она и сама не могла бы объяснить этого своего желания, но потребность встречи была столь неожиданно велика, что как-то вечером за ужином (дело было зимой) она объявила своему семейству, что в августе они все поедут отдохнуть в

Крым.

– Ура! – закричал Алеша, плохо представлявший себе, что это за земля такая Крым, куда зовет их поехать мама, но на всякий случай спросил: – Там море, да, мам?

– Да, – сказала Галина. – Там море. И горы. И марсианские холмы. И чудесные беленькие домики. А в маленьких двориках живут прекрасные розы.

– И соловьи, – добавил Алеша, вспомнив сказку Андерсена, которую ему читала мама.

– Да, – сказала Галина. – И цикады.

– Ты в самом деле хочешь поехать в Крым? – спросил Юра.

– Почему бы и нет? Мы с тетей Таней, – обратилась она снова к Алеше, – ездили туда, когда тебя еще не было на свете.

– Я могу попытаться взять путевку в Ялту, – сказал Юра, – хотя в августе нам могут и не дать.

– Я не хочу в Ялту, – сказала Галина. – Там... мне там не нравится. Лучше в Феодосию.

– Тогда уж в Коктебель. В писательский дом.

– Вот и хорошо, – согласилась Галина. – Может, Мария Степановна еще жива, познакомимся.

– Ты имеешь в виду жену Волошина? Вряд ли... Хотя это можно выяснить.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.